



Денис
НОВИКОВ

ВИЗА

Денис Новиков

ВИЗА

УДК 821.161.1-1 Новиков
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Н73

Д. Новиков

Н73 Виза. — М.: Воймега, 2007. — 256 с.

ISBN 5-7640-0027-0

Денис Новиков (1967–2004) родился в Москве. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Жил в Англии, Израиле. В 1980–1990-х годах публиковался в журналах «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Огонёк» и др., участвовал в альманахе «Личное дело №». На рубеже XX–XXI веков Д. Новиков — одно из самых заметных явлений русской поэзии. В последние годы жизни резко порвал с литературным кругом, практически не печатался.

«Виза» — наиболее полное на сегодняшний день собрание стихотворений Д. Новикова. В него вошли книги «Условные знаки» (1992); «Окно в январе» (1995); «Караоке» (1997); «Самопал» (1999), а также стихи, печатавшиеся в периодике.

Книга издана при участии
творческого объединения «Алконость»

© Д. Новиков, наследники, 2007
© Ф. Чечик, составление, 2007
© С. Труханов, оформление, 2007
© Воймега, 2007

В оформлении обложки использована
фотография работы Г. Елина

Условные знаки (1992)

* * *

Москва бодала местом Лобным,
играючи, не насовсем,
с учётом точным и подробным
педагогических систем.
Москва кормила до отвала
по пионерским лагерям,
с опекою не приставала,
и слово трудное ге-рон-
то-кратия — не знали, зрели,
росли, валяли дурака.
Пройдётся по сентябрьской прели —
глядишь, придумалась строка.
Непроизвольно, так, от сердца.
Но мир сердечный замутнён
на сутки даденного ксерокса
прикосновением времён.
Опережая на три года
всех неформалов ВКШ,
одну трагедию народа
постигла юная душа.
А нынче что же — руки в брюки,
гуляю, блин, по сентябрю,
ловлю пронзительные звуки
и мысленно благодарю.

(1988)

* * *

ещё душе не в кайф на дембель
в гражданском смысле слова гибель
ещё вчерне глотает стебель
и крепко держит будто ниппель
ещё не больно в небо пальцем
играя с тяготеньем в прятки
сырой мансарды постояльцем
где под матрацем три тетрадки
предпочитаю быть покамест
по книгам числюсь что ж такого
что чёрный калий твой цианист
веревка белая пенькова

(1988)

* * *

Задумаешься вдруг: какая жуть.
Но прочь виденья и воспоминанья.
Там листья жгут и обнажают суть,
но то уже за гранью пониманья,

и зреет там, за изгородью, звук,
предощутим и, кажется, прекрасен.
Затянешься. Задумаешься вдруг
в кругу хлебнувших космоса орясин —

высотки, в просторечии твоём.
Так третье поколение по праву
своим считает Фрунзенский район,
и первое — район, но не державу.

Я в зоне пешеходной — пешеход.
В зелёной зоне — божия коровка.
И битый час, и чудом целый год
моё существованье — тренировка

для нашей встречи где-то, где дома
населены консержками глухими,
соседшими от гордости с ума
на переключке в Осовиахиме.

Какая жуть: ни слова в простоте.
Я неимуц к назначенному часу.
Консержка со звездой на хвосте
крылом высоким машет ишиасу.

* * *

Дверь откроешь: тепло из гостиной на кухню течёт,
вопреки планировке, поверх типового проекта
здесь, где стужа препятствует существованию субъекта,
протекает тепло из гостиной, не взятой в расчёт.

Здесь, на синей земле, на покрытом клеёнкой столе,
прямо в центре цветной фотографии города Кёльна,
есть железная клетка для воздуха, дабы привольно
можно было дышать в сохраняемом клеткой тепле.

Объясняю. Тепло из гостиной на кухню течёт,
попадая в железную клетку, при помощи ряда
хитроумных устройств сохраняется ей от распада,
и субъект существует в гостиной и клетки за счёт.

(1986)

Чукоккала

Голое тело, бесполое, полое, грязное
В мусорный ящик не влезло — и брошено около.
Это соседи, отъезд своей дочери празднуя,
Выперли с площади куклу по кличке Чукоккала.
Имя собачье её раздражало хозяина.
Ладно бы Катенька, Машенька, Лизонька, Наденька...
Нет ведь, Чукоккалой, словно какого татарина,
Дочка звала её с самого детского садика.
Выросла дочка. У мужа теперь в Лианозове.
Взять позабыла подругу счастливого времени
В дом, где супруг её прежде играл паровозами
И представлялся вождём могоиканского племени.
Голая кукла Чукоккала мёрзнет на лестнице.
Завтра исчезнет под влажной рукою уборщицы.
Если старуха с шестого — так та перекрестится.
А молодая с девятого — и не поморщится.

Ностальгическое

1. 8-й класс

Обязательно будет истерика,
обязательно будет скандал,
звук — на полную, голос из телека
для соседей бубнит по складам.
Я в компании выбился в лидеры.
На груди, словно орден, засос,
чтоб родители видели, видели,
как их сын грандиозно попрос.

2. 10-й класс

Едина жизнь, и смерть едина,
а на щеках цветёт щетина —
забор для посторонних глаз;
рука дрожит, стакан сжимая,
— Ну что, за праздник Первомая?
— Нет, лучше за десятый класс.
— Что будет после выпускного,
учиться и учиться снова?..
— Плюнь. Не расстраивайся. Пей.
Умерь напрасные дебаты,
что будет? — будут аты-баты
под бокс подстриженных людей.

* * *

Взгляни на прекрасную особь
и, сквозь черепашьи очки,
коричневых родинок россыпь,
как яблоки в школе, сочти.
Зачем-то от древа Минпроса
ещё плодоносят дички
как шанс, как единственный способ
считать, не сбиваясь почти.

Число переходит в другое.
В зелёный — коричневый цвет.
И минус — надбровной дугою —
дурацкую разницу лет.
И плюс помышленья благое,
что сравнивать сущее — грех.
Смотреть. И не трогать рукою
ни яблок, ни родинок тех.

* * *

Малый мира сего, я хочу быть большим.
Славным малым подзвездного мира.
И хочу соблюдать я спортивный режим,
чтобы ставить рекорды без мыла.

Не надейся. Никто ничего не поймёт —
мне сказали ребята намедни —
никого твой вертлявый пассаж не проймёт,
все лишь бредни, там-там, шерри-бренди...

Это штампы, ребята, дурные клише,
вы отстали, и, кажется, слишком.
Я хочу выбирать по душе, по душе,
а не по разговорам и книжкам.

Посылаю наверх я активный сигнал,
поцелуй посылаю воздушный:
по незнанию детскому дуру я гнал,
и была моя дура бездушной,

по велению моды припудрил мозги,
но сошла чужеродная пудра.
И теперь я отчётливо вижу все зги —
вы живёте действительно мудро.

Малый мира сего, серый мара твою,
бесконечного вашего мара,
да, конечно, конечно, никто, ничего,
но, с другой стороны — шарабара.

* * *

Сердце бьёт в эрогенную зону
чем-то вроде копыта коня.
Человечество верит Кобзону
и считает химерой меня.

Дозвониться почти невозможно,
наконец дозвонился — и что? —
говорит, что уходит, безбожно
врёт, что даже надела пальго.

Я бы мог ей сказать: «Балаболка,
он же видео — мой телефон,
на тебе голубая футболка
и едва различимый капрон».

Я бы мог, но не буду, не стану,
я теперь никого не виню,
бередит смехотворную рану
сердце — выскочка, дрянь, парвеню.

Сердце глупое. Гиблая зона.
Я мотаю пожизненный срок
на резиновый шнур телефона
и свищу в деревянный свисток,

я играю протяжную тему,
я играю, попробуй прерви,
о любви и презрении к телу,
характерном для нашей любви.

* * *

Квартиру прокурили в дым.
Три комнаты. В прихожей шубы.
След сапога неизгладим
до послезавтра. Вот и губы

живут недолго на плече
поспешным оттиском, потёком
соприкоснувшихся под током,
очнувшихся в параличе.

Не отражает потолок,
но ежечасные набег
теней, затмений, поволок
всю ночь удваивают веки.

Ты вдвое больше, чем вчера,
нежнее вдвое, вдвое ближе.
И сам я человек-гора,
соседший с цирковой афиши.

Мы — дирижабли взаперти,
как под водой на спор, не дышим
и досчитать до тридцати
хотим — и окриков не слышим.

(1986)

* * *

Мы заснём и проснёмся — друзьями,
машинальным движением рук
только дань отдадим обезьяне —
и пройдем сквозь рефлексный круг.

Гадко щерятся Павлов и Дарвин:
дохлый номер бороть естество.
Но недаром, ты слышишь, недаром
мы пока ещё верим в Него.

* * *

Давай молчать с тобой на равных,
Коль разговор утратил смысл.
Нет ран, и соли нет на ранах.
Дождь голубей с балкона смыл.

Нет денег. В сотый раз обшарил
Карманы куртки — денег нет.
И, судя по всему, не шарик
Земля, а колющий предмет.

* * *

Я не знаю стихов о любви
Совершенней, чем «Север и Запад
Заслоняют колени твои,
Лишь желаннее ставшие за год...»

Я, осиливший горы бумаг,
не считаю, что «спящие чутко,
два пупка превращаются в знак
бесконечности» — тонкая шутка.

Я, последний на свете кретин,
понимаю, как это красиво:
«... а потом по орбите летим
на диване, бесшумном на диво...»

(1985)

Посвящения

1

А. Б.

Город, город на сфинкском заливе.
Мы гуляли зимой по нему,
ощущая планету — в отрыве
и по правую руку — Неву.

Вдоль обломков хорошего тона
Невским... Не с кем... Эй, сфинксы, ать-два!
Город, город, медуза Горгона,
ты три века всему голова.

2

Т. З.

Здоровья осталось на несколько тысяч затяжек.
Ночные коты крымский дворик обходят дозором.
Рассыпались звёзды солдатских начищенных пряжек,
им время настало спясться единым узором.

Двенадцать часов. Место встречи — площадка за клубом.
Пожатия рук и ленивый обмен новостями.
Промокшая тумба отброшена выбитым зубом,
оставленным здесь не курящими «Приму» гостями.
Я с детства боюсь, только страх свой всё меньше скрываю,
и вправду, ну что я могу против местных — приезжий...

(1985)

* * *

На фоне Афонского монастыря
потягивать кофе на жаркой веранде,
и не вопреки, и не благодаря,
и не по капризу и не по команде,
а так, заговаривая, говоря.

Куда повело... Не следить за собой.
Куда повело... Не подыскивать повод.
И тычется тучное (шмель или овод?),
украшено национальной резьбой,
создание и вылетает на холод.

Естественной лени живое тепло.
Истрёпанный номер журнала на пляже.
Ты знаешь, что это такое. Число
ушедших на холод растёт, на чело
кладя отпечаток любви и пропажи,

и только они, и ещё кофейку.
И море, смотри, ни единой медузы.
За длинные ноги и чистые узы!
Нам каяться не в чем, отдай дураку
журнал, на кавказском базаре арбузы,

и те, по сравнению с ним на разрез —
белее крыла голодающей чайки.
Бессмысленна речь моя в противовес
глубоким речам записного всезнайки,
с Олимпа спорхнул он, я с дерева слез.

Я видел, укрывшись ветвями, тебя,
я слышал их шёпот и пение в кроне.
И долго молчал, погружённый в себя,
нам хватит борозд на господней ладони,
язык отпуская да сердце скрепя.

(1988)

* * *

Друг другу не ровня, мы, видимо,
различны по величине,
но то, что ты смотришь по видео, —
я вижу с пелёнок во сне.

Бесспорно, прекрасен Калигула,
но рамки экрана тесны,
как место собачьего выгула,
как улицы этой страны,

что колом стоит в знаменателе
и тешит надеждой и бьёт
по праву священному матери,
в мученьях рождающей плод...

Но выше чужих телеспутников
и ниже таможен твоих,
чудовищ, распутниц, распутников,
преступников и остальных...

Трансляции снов из крошечного
и светлого — из глубины.
Друг другу не ровня, конечно, мы.
Но все, как ни странно, равны.

* * *

Месяц июль, скажи, месяц июль.
Мне ли не знать помутнения, мне ли.
Красное лето, зелёный патруль.
Встали в шеренгу и оцепенели,

и рассчитаться по росту нет сил,
и переход под знамёна не гладок.
Время пришло — и губу закусил.
Время настало — устроил припадок.

Это не оторопь энного дня
напоминания отрокам кармы,
часа, когда стекленеет броня
и различимы снега и казармы.

Мы не случайно держали пари,
и забирали себе половину,
и затевали ночные пиры —
горсть монпансье и стакан поморину.

Коль ясновиденьем лоб обелён,
фосфоресцирует обод пилотки,
что нам за дело? Шуми, Вавилон,
и покушайся на наши подмётки.

Бестолочь машет с плеча на ура,
всё норовит возвести баррикады...
Громче флотилий гремели цикады,
и берега омывала Пахра.

(1985)

Стансы ко времени

Поговори со мной, время, с позиции силы.
Лунная ночь. И душа, слава богу, полна.
Поговори. Потряси надо мною осины.
Или берёзы. И рожью пахни из окна.

Я б поукромнее спрятал язык за зубами,
только зубов, вот беда, не осталось во рту.
Ямб позволяет писать собой саги о БАМе,
вряд ли смогу доказать им теперь правоту.

Я говорю с тобой, время, с позиции пятой,
крепко поставлен на место одною шестой.
Ты поверяешь гармонию белой палатой
и арифметикою, безнадежно простой.

И для примеров твоих я сложу, может статься,
голову с яблоком, как прародитель Адам.
Поговорим. Но чуть прежде, чем насмерть расстаться,
дай я узнаю осину Твою по плодам.

* * *

Рука судьбы, рука Москвы
всю ночь сжимает мне запястье
до белизны, до синевы,
до омертвения, до безвластия

над невесомым коробком
и невесомой сигаретой —
над всем спасительным куском
реальности, над жизнью этой.

То командармова рука,
литые мышцы, блеск погона,
она уходит в облака
сквозь дверь открытого балкона,

то чертовщина, то мираж,
за уклоненье, за диагноз
со мною счёты сводит страж
империи, мышинный Аргус.

Я гибну. Не сложить креста.
В мои зрачки не страшно — странно
глядит погонная звезда...
Ах, донна Анна, донна Анна...

* * *

Было деревом, стало стволом водокачки,
о наивный, ребячески чистый обман,
боевая готовность ландшафта, из спячки
выходящего в крупный, отчётливый план.

Как я в августе грежу такими вещами,
даже трогаю ветку за почку рукой
и тяну из тебя, неповинной, клещами
тривиальную фразу: на даче покой.

Как, должно быть, приятно читать на террасе,
если ливень и сутки ещё впереди
до отъезда домой, по делам, в первом классе...
Нет, я правильно путаю, нет, погоди,

эти поезд и почка — не мелкая кража,
обречённого век шуровать по лоткам,
не смешенье времён и сезонов, но та же
водокачка и те же стволы по бокам.

(1987)

Стансы ко времени № 2

Я, верно, не поспею за тобой.
Куда как быстро бегают ребята.
Недоуменье прыгавших в забой
за истиной, чья верная лопата

побегами живыми проросла,
мне уморительно. При виде
воробьшка кургузого, посла
из вечности, в листве и не в обиде —

лопаты потупляют черенки.
На василёк, схороненный под робой,
подаренный сердечною зазной,
валят листва растений той реки,

где всё мертво, где примирён герой
труда и быта с битником патлатым,
поскольку сам летун, поскольку атом,
субстанция, не крытая корой.

Ах, жизнь моя, печальные дела.
Мне никого и ничего не жалко.
Мне жалко вас, лопата и пила,
в масштабе от плетня до полущалка.

Мне жаль себя. А впрочем, всё хандра.
Бегут ребята на пожар эпохи.
И воробей летейский сыплет крохи
голодным людям. Это ль не игра?

* * *

Е. М.

Блажен, кто, доверяясь связи
меж этой женщиной худой,
цветами, вянущими в вазе,
и абсолютной пустотой

стихов, которые так гладко
сегодня пишутся, найдёт
в них благозвучье беспорядка
или магический расчёт.

* * *

Не путём — так бульваром Страстным
прошагай, покури и припомни:
это было с тобой или с ним,
это кроны, а может быть, корни?

В отдаленье — разрушенный храм.
Отдаление — много ли это?
Кто ты, предок? Сиятельный хам.
Кто потомок? Не слышно ответа.

Параллель. Сто веков. Пара лет.
«Здесь сидел...» На скамейке отметка.
Наступаю в свой собственный след,
плоский след то потомка, то предка.

Не бульваром Страстным — так путём.
Нету разницы принципиальной.
Кто не знает, что будет *потом*, —
обладает великою тайной.

Накануне

Остов курицы на сковородке,
в кухне кафельной бродит сквозняк,
сводят руки погодные сводки
лучезарной программы «Маяк».

Завтра праздник, и праздничный завтрак,
и открытка в почтовом гнезде,
поздравления сверхкуртизанок —
отцветающих дикторш ЦТ.

Завтра (пусть и не круглая) дата,
а сегодня обычный денёк:
ни салюта с яйцом, ни салата,
и молчит в телефоне звонок.

Проходи же скорее, минута,
до рубиновой цифры в году
семимильным шажком лилипута
и замри и застынь на посту!

Девять дней

Три копейки в синий купол,
государственный орёл
крутит штопор. Вспомнил ступор.
Я, наверное, обрёл
знание важное для новых
поэтических удач,
так и просится «кленовых»
и рифмуется «не плачь».
Я могу пять суток кряду,
до окончания времён,
до упора, до упаду,
диссонансом, в унисон.
Это просто, очень просто,
выделяется строка
из лилового нароста,
наподобье червяка,
и кишмя кишит на белом
(саван, снег, больница, мел),
укорачиваясь телом
под классический размер:
помню папины закорки,
снизу мамины заколки,
тёплый праздник Первомай,
кого хочешь выбирай!
Выбирай Валерку салкой,
и недюжинную прыть
мы покажем вместе с Алкой,
разумеется, за свалкой...
Дальше тошно говорить.

Прогноз погоды

Когда сбывается прогноз
(неверящий, проси прощенья) —
воспринимаются всерьёз
все остальные сообщенья.

Но политический дневник
и причитанья Толкуновой
не ведают, что в них проник
каким-то чудом привкус новый.

* * *

Вдоль зелёного забора,
весь в обновках и в обнимку,
приотстанешь — помолчишь.
Шарит фауна и флора
под заколку-невидимку,
где-то травка, где-то чиж,

их не видно, только щебет,
только прозябанье, только
состояние внутри.
Всё горбатого мне лепит
фауна, играет тонко,
флора красит пузыри.

Зыбко, весело, вольготно,
и ещё — тепло и сонно,
зонт китайский на стриту.
Кануло бесповоротно
время Джона, время Оно,
но священную чету

мне напомнили вот эти,
появившись рядом, хиппи —
лет по тридцать пять уже,
а у них, наверно, дети
с молока привыкли к рыбе
и, представь себе, к душе.

В постбитловскую эпоху
в пост душа и рыба вместе
и одну неделю врозь.
Брось готового к подвоху
в октябре, подвергни мести,
только в мае поматрись.

Дай попить под небом сока,
посидеть на плинтуаре,
посмотреть на яркий понт.
Лишь бы никакого прока,
и ни мысли о наваре,
и один китайский зонт.

(1987)

* * *

Да, я знаю: в итоге останутся нищие духом
и по водам пойдут аки по суху за горизонт,
улыбаясь прощально футболам, газетам, пивнухам,
сознавая, что им не случайно от века везёт.
Параллельно под чёрной водой тоже двинутся толпы,
эти знали и раньше короткое слово «этап»,
их не держит вода, расписные тяжёлые торбы
увлекли их на дно, но не выбросить нажитый скарб.

* * *

Юго-западный ветер истошно завыл на Луну.
За растрату таланта во хрестоматийных размерах
я не дам отступного и к Малому Головину
возвращаться воспитанным на благородных примерах

я не буду, пойми, больно гладко у вас повелось —
коренных горожан, сопричастных жилищному буму:
полчаса на метро, проходным, продувным — и насквозь,
коль не к Оле-Лукойе, то, верно, к рахату-лукуму.

Даже детские праздники мечены здесь коготком.
Нарушая обеты, скреплённые солью и глиной,
африканской маркой, стучащим в окно мотыльком,
о смягченье вины не заботясь, твержу: «Не знаком»,
как блатной элемент, презирающий явку с повинной.

* * *

Ты, увлѣкшийся сызмальства чтеньем
здешних книг, издаваемых там,
поживи хоть немного растеньем,
соответствуя юным летам.

Друг, опомнись, дурные примеры
занимают участок мозгов,
где хранишь ты, как символы веры,
пять фамилий народных врагов.

* * *

Где я вычитал это призвание
и с какого я взял потолка,
что небесно моё дарованье,
что ведома *оттуда* рука,

что я вижу и, главное, слышу
Космос сквозь оболочку Земли.
Мне сказали: «Займи эту нишу», —
двое в белом. И быстро ушли.

Детский сон мой, придуманный позже,
впрочем, как и всё детство моё,
в оправдание строчки... О боже,
никогда мне не вспомнить её,

первой строчки, начала обмана,
жертвой коего стал и стою
перед вами я, папа и мама.
Пропустите урода в семью.

* * *

Жаль, обморожены корни волос,
вышел — попал в молоко.
В прошлый, Отечество спасший, мороз
я ещё был далеко.

За семь морей от окрестных лесов,
от коммуналки отца,
смутно врубаясь из люльки Весов
в культ Кровавого Тельца.

Семеро душ от еврейской семьи,
сколько от русской — бог весть,
но уцелевшие корни твои
тоже считают: Бог есть.

Кровь ли чужая не сходит мне с рук,
иль мазохистка душа
нынче себя же берёт на испуг,
всласть «Беломором» дыша?

Ладно. Не жить. Выживать. Из ума.
С вавилонянами бог,
с нами природная милость — зима,
порох и чертополох.

Два бивуака парят в небесах,
пав среди звёздных полей,
белый журавль, я усну на Весах,
без ошущенья корней.

* * *

Его хоронили всего —
Всего полтора человека:
Володя Шувалов — калека
И бывший начальник его.

Он умер от сердца, хотя
При жизни о сердце не думал,
Он был вообще как дитя,
А стало быть, рано он умер.

(1985)

* * *

Тоскуя о родных местах,
во сне невинном и глубоком,
Ми-22, российский птах,
пустыню измеряет оком.

Смущённый тенью на песке,
рукой железной жмёт гашетку
и зрит плывущей по реке
Оке рябиновую ветку.

Весь — ностальгический порыв,
весь нараспашку и наружу,
душой широкой воспарив,
он замечает рядом душу

той зыбкой тени на песке,
что без кинжала и нагана,
летит, как мячик на шнурке,
в руке небритого цыгана...

Когда бы старшая сестра
протёрла точные приборы,
вложила ветку в пасть костра,
а в гриф гитары — переборы.

Коньки и санки. Чистый лёд.
Плотвой натянутая леска...
Слюну пускает вертолёт,
трепещет, словно занавеска,

и поворачивает вспять,
ведомый внутренним сигналом,
и продолжает сладко спать
перед военным трибуналом.

(1986)

* * *

Валере

В ожидании друга из вооружённых
до зубов, политграмоте знающих тех,
распевающих бодро о пушках и жёнах,
отдыхающих наспех от битв и потех,

из потешных полков обороны воздушной,
проморгавшей игрушечного прусака,
не сморгнувшей его голубой, золотушный
от пространства и солнца, как все облака

безопасный, штурмующий хронику суток
самолётник; из комнаты, где по часам
на открытках, с другой стороны незабудок,
пишут считанным лицам по всем адресам;

из бывалых и тёртых калёною пемзой,
проживающих между Калугой и Пензой,
но таких же, смолящих косяк впятером
от щедрот азиата, но тоже такого,
с кем не очень-то сбациаешь Гребенщикова
и не очень обсудишь стихи, за бугром
выходящие,

но ничего, прокатили
две весны втихомолку, остаток зимы
перетерпим, раздастся надрывное «ты ли?!»
по стране, и тогда загуляют взаимны
рядовые запаса в классическом стиле.

(1987)

* * *

Слов на строчку и денег на тачку
ночью майской, на улице N,
как подарок, потом как подачку,
а потом — предлагая взамен

безусловно бессмертную душу
и условно здоровую плоть, —
я прошу, обращаясь наружу,
чтобы мог ты меня расколоть,

смять, как мнёт сигаретную пачку
от бессонницы вспухший хирург...
Слов на строчку и денег на тачку —
и хоть финским ножом, демиург.

Но внезапно проходит, проходит,
отпускает, играет отбой.
Так порою бывает: находит.
Мы не будем меняться с тобой.

Хитрых знаков, горящего взгляда
в обрамлении звёзд водяных,
мне, блаженному, больше не надо,
я, блаженный, свободен от них.

* * *

Сегодня играем в четыре губы
Весь вечер. Какая метель на дворе!
Гленн Миллер – архангел блестящей трубы –
С небес позавидует нашей игре.

И волос, мешающий пить языку,
Подброшенный в воздух, летящий, как звук,
Немало выдавший волос на веку
Гленн Миллер подхватит и спрячет в мундштук.

Гленн Миллер, когда мы отправимся спать
Под фиоритуры блестящей трубы,
Как тонкий ценитель, позволь нам опять...
До следующей встречи... В четыре губы...

(1984)

Пришелец

Он произносит: кровь из носа.
И кровь течёт по пиджаку,
тому, не знавшему износа
на синтетическом веку,

а через час — по куртке чёрной,
смывая белоснежный знак,
уже в палате поднадзорной —
и не кончается никак.

Одни играют на баяне,
другие делят нифеля.
Ему не нравятся земляне,
ему не нравится Земля.

И он рукой безвольно машет,
как артиллерии майор...
И всё. И музыка не пашет.
И глохнет пламенный мотор.

(1985)

* * *

Минул год от рожденья таковский,
был таков под бенгальский огонь
тигр бенгальский... Но прежде Тарковский
протянул ему с мясом ладонь.

Очи хищника пуще магнита,
в сувенирный трескучий мешок,
в морозящий стакан сталагмита
тигр свершает последний прыжок.

И на смену ему за добычей
представители фауны – в ряд:
обезьяний, собачий и бычий,
будто в тире курортном стоят,

оживают под пенье курантов,
начинают ходить по дворам
партработников и эмигрантов,
всех, пока ещё имущих срам.

* * *

Продолжается долгая повесть
безо всякой сюжетной канвы,
дождь полощет шершавую полость —
полость рта пациентки Москвы.

Распласталась на каменном кресле
и боится, предчувствуя боль,
краном в корни окраин залезли,
как машинкой с приставкою «бор».

Не кричать... Потерпеть полминуты...
Не кусать за мизинец врача...
Влажным воздухом клёны надуты,
заговоры свои лепеча.

Феб с фронтона Большого театра
не успел поменять лошадей...
Жизнь и смерть и лечение — бесплатно.
Пожалей её, ну, пожалей.

* * *

Сырой, как арбузная корка,
и серенький, словно обложка
болгарского диска битлов,
был вечер, упрямо и колко
накрапывал дождь, неотложка
ныряла в провалы дворов.
И я пожелал ей удачи,
вернее, не ей — человеку,
на помощь позвавшему... Я
купил два билета без сдачи
в ненужную мне дискотеку,
чтоб спрятаться и от дождя.

* * *

Эти яблоки – белый налив –
Ночью падают выстрела глуше.
Им вослед (благородный порыв!)
То же самое делают груши,

Наудачу срываясь с ветвей...
Огорожен садовый участок,
Плодопад чернозёмных кровей –
Время наших приездов нечастых.

Пэтэузник

Пэтэузник походкою бравой
Пересёк новостройку насквозь,
Раньше жил он в самой златоглавой,
А потом переехать пришлось.
С мамой-папой гулял по Петровке,
В зоопарке кормил лебедей.
Было близко всё — три остановки
В окруженье спешащих людей.
Этот мир новостроечный узок,
И поэтому проще, чем тот, —
Хочет квасу попить пэтэузник
И в пятнадцатый квартал идёт.
Там ларёк, а в конце пятилетки
Прорубить обещали метро...
На Палихе сквозь чёрные ветки
Видно нового дома ребро.

* * *

М. К.

В городе негде нам кофе попить.
В городе негде нам вместе побыть.
В городе странном с языческим именем,
рядом с Советом Министров и Пименом.
Рядом с Кузнецким мостом и Беляево.
Не обижайся. Не я выбирал его
для отношений каких бы то ни было.
Мне не позволили этого выбора.
Для отношений интимных и дружеских
тысяча комнат и тысяча Пушкинских
необходимы бывают по поводу
жизни моей... Что до этого городу?

* * *

О вы, идущие по трое
бойцы, ночные патрули
в плащах военного покроя,
достать врага из-под земли,
я вас придумал прошлым утром,
болея, мучась животом,
вы мне казались чем-то путным,
но разонравились потом.
Не представляя, что же дальше,
я произнёс как на духу:
поэзия не терпит фальши
и рыла хитрого в пуху,
и с кем я, деятель культуры,
кровь подменяющий водой
и заводящий шуры-муры
с идеей творчества святой?
Пустопорожня реторта,
круги павлиньи на воде,
вас ждёт вопрос «какого чёрта?»
на страшном будущем суде.
О фиги жалкие в карманах
заместо пламени в груди,
в заветах, ведах и коранах
вам оправдания не найти!
У вас проходит этот номер,
пока проходит пятый номер.
Вот-вот он скроется вдали...
И всё... ночные патрули.

* * *

Он перешёл на Кольцевую линию
Без страха и упрёка, целиком.
Пустой желудок гнал его на синюю,
Душой он был на жёлтую влеком.

Вся схема мироздания — круг с присосками —
Предполагала выбор цветовой.
Между двумя планетами московскими
Как по орбите он — по Кольцевой.

* * *

Там сочиняются стихи,
там дует ветер из фрамуги,
и рекреации в испуге
от беготни и чепухи.

Какие бедные слова,
какая немощь и натуга,
и пыль в два пальца... Ты, фрамуга,
самим названием мертва.

В нетопыриное дупло,
в непроходимый карк и скрежет —
вали отсюда! Здесь тепло,
и ежели не брызжет — брезжит.

Ты, рекреация, туда ж.
Не тополиной парусиной —
нетопыриной палестиной
ты станешь и потомство дашь...

Вы — злополучные штрихи
на выпускном и ломком глянце,
как лямки цепкие на ранце —
назад, обратно, где стихи...

(1985)

Окно в январе
(1995)

* * *

М. Айзенбергу

Вот лежит человек, одинок,
поднимается к небу дымок
из его сигареты, набитой
чёрт-те чем и набитой на треть.
Если выпотрошить, растереть
на ладони — одною обидой

будет больше на этот режим,
и на критику с мест, и зажим
мусульман со своим газаватом...
Деньги вышли, а в доме галдёж,
а на видное место кладёшь —
не отыщешь за сутки, куда там.

Человек не обидчив, не зол.
Разве что огрызнётся «козёл»
на кого-нибудь, и полегчает
на душе, и уже примирён,
а мгновенье спустя — умилён
и души в этой жизни не чаёт.

Просигналит ночной чумовоз,
просандалит по коже мороз,
промелькнёт невменяемый Голем.
Мы ещё повоюем, душа,
погружаясь во тьму, антраша
мы ещё грациозно отколем.

(1989)

* * *

Т. Кибирову

Мы не вселенского, мы ничего, областного.
Наши масштабы до той вон горелой берёзы.
Свяжется как-то, уцепится за слово слово,
тут и прихватят враспloch его наши морозы.

Мы кулики на болоте своём куликовом.
Этот шесток я в любом состоянье узнаю.
А переходим каликам скажу: далеко вам,
если и впрямь подались к голубому Дунаю,

к Тибру надменному и легкомысленной Сене.
Не оставляйте в дороге вещей без присмотра.
Здесь мужики изъясняются бегло по фене.
Бабы нарочно таскают порожними вёдра.

Коли воды зачерпнёте Дуная и Тибра,
так самоходное вспомните слово с мороза,
нас, домоседов, районного скальдов калибра.
В проруби нашей дунайская выплывет роза.

(1989)

АКЫН

То дождь, то ничего. Посмейся над акыном,
французов позабавь, попотчуй англичан.
Вот он глаза протёр и всё, что есть, — окинул
и — на тебе — запел, по струнам забренчал.

А всё, чего здесь нет, чему и места нету,
и слов свободных нет в дикарском словаре, —
так это не ему, а вольному Поэту
при шляпе, при плаще, чернилах и пере.
На музу ставит сеть, уловом перепуган,
«Куда ты завела, — бормочет, сети рвёт, —
ведь мне, а не тебе, — бормочет, — перед Богом
держать ответ, — кричит, его в уборной рвёт, —
ах, незнакомый друг...»

Акын — иного рода.
Он, может быть, и есть тот незнакомый друг.
Но совершает он три полных оборота
и друга своего не видит он вокруг.

А значит, только дождь как из ведра. А значит,
дырявое ведро, пробитое дождём.
Стоит стреножен конь, а вот уже он скачет,
вот дерево шумит, вот человек рождён.

(1989)

* * *

И тогда я скажу тем, кто мне наливали,
непослушную руку к «мотору» прижав:
если наша пирушка на книжном развале,
на развалинах двух злополучных держав
будет длиться и там, за чертою известной,
именуемой в нашем кругу роковой, —
я согласен пожертвовать другом, невестой,
репутацией, совестью и головой.

Если слово «пора» потеряет значение
(никому не пора, никуда не пора!),
если это внутри и снаружи свечение
не иссякнет, как не запахнётся пола, —
я согласен. Иначе я пас. И от паса
моего содрогнутся отряды кутил.
Зря в продымленных комнатах я просыпался,
зря с сомнительным типом знакомство водил.

Потому что не времени жаль, не пространства.
Не державы пропащей мне жаль, не полцарства.
Но трезветь у ворот настоящего Царства
и при Свете слепящем, и руки по швам,
слышать Голос, который, как Свет, отовсюду —
не могу, не хочу, не хочу и не буду;
голоса и свечение, любезные нам,
Свет и Голос рассеют... Но поздно. Сынам
недостойным дорога заказана к Чуду.

(1989)

* * *

Часто пишется бог, а читается правильно — Бох.
Это правильно, это похоже на выдох и вдох.
Для такого-то сына, курящего ночь напролёт, —
всё точнее, нальёт себе чаю, на брюки прольёт.
Всё точнее к утру, к чёрту мнения учителей.
Вот и чёрт появился и стало дышать тяжелей.
Или это иной, от земного отличный состав,
или это то самое, чем угрожает Минздрав?..

* * *

Есть иной, прекрасный мир,
где никто тебя не спросит
«сколько время, командир»,
забуревший глаз не скосит.

Как тебе, оригинал,
образец родных традиций?
Неужели знать не знал,
многоокой, многолицей

представляя жизнь из книг,
из полночных разговоров?
Да одно лицо у них.
Что ни город — дикий нор.

Кто, играя в города,
затмевал зубрил из класса,
крепко выучит Беда —
всё названье, дальше трасса.

Дальше больше — тишина.
И опять Беда, и снова
громыханье полотна,
дребезжанье остального.

Хочешь корки ледяной,
вечноцарской рюмку, хочешь?
Что же голову морочишь:
«мир прекрасный, мир иной»...

(1987)

Цыганское лето

Гомон, жар, жаргон кофеен,
и бамбуковый навес
то ли по ветру развеян,
то ли сам собой исчез.
Сам собой... Умолкла самба,
приказала долго жить
музыкантам. Ну а сам-то
долго будешь сторожить
этот солнцем пропечённый
опустевший пятачок,
взад-вперёд, как кот учёный,
как цыганский тот смычок?..

Неотвязный гость восточный,
к нам из царской стороны
весть пришла с цыганской почтой —
«Кто по морю пёк блины?!
Кто такой отважный повар
разгулялся по морям?
Кто готовит тайный сговор,
потрафляя поварам?!
Лоботрясам и повесам,
фатам, фертам, сторожам,
что бамбуковым навесом
донимают горожан,
полагаю сей депешей
час на сборы — и домой.
Лето красное пропевший —
не имеет петь зимой!

У кого на брюках штрипки —
тот опасный фармазон,
отыгравшийся на скрипке.
Всё. Закончился сезон».

Поварам и недобиткам,
чемоданам и подсумкам,
разместиться по кибиткам
сторожам и недоумкам
нелегко. Они от вилки
и ножа совсем отвыкли,
от порядка... Босоногая мулатка,
ни песчинки, ни кровинки,
вслед окликни...

(Осень 1989, София)

* * *

Ну хоть ты подтверди — это было:
и любовь, и советская власть.
Горячило, качало, знобило.
Снег летел на проезжую часть.

Ты одна избежала расплыла,
ты по-царски заходишь не в масть.
Если было — зачем это было?
Как сумело бесследно пропасть?

Отвечает: петля и могила.
Говорит: одержимость и страсть.
Что ты знаешь про не было — было?
Что любовь и советская власть?

Самочинно не то что стропила —
малый волос не смеет упасть.
Неделимый на «не было — было»,
снег летит на проезжую часть.

(1993)

* * *

Д. М.

Как подобие Божье подобию Божью,
как охваченный дрожью охваченной дрожью,
отдаю своё сердце взамен
твоего. Упадают оковы железны,
обращаются в бегство исчадия бездны,
фараонов кончается плен.

И как Божье подобие Божью подобью,
как охваченный скорбью охваченной скорбью,
возвращаю его из груди.
Ибо плен фараонов — отечество наше,
ибо наша молитва — молитва о чаше,
ибо нам не осилить пути.

Караоке (1997)

* * *

Бумага терпела, велела и нам
от собственных наших словес.
С годами притёрлись к своим именам,
и страх узнаванья исчез.

Исчез узнавания первый азарт,
взошло понемногу бльё.
Катай сколько хочешь вперёд и назад
нередкое имя моё.

По белому чёрным его напиши,
на улице проголоси,
чтоб я обернулся — а нет ни души
вкруг недоумённой оси.

Но слышно: мы стали вась-вась и петь-петь,
на равных и накоротке,
поскольку так легче до смерти терпеть
с приманкою на локотке.

Вот-вот мы наделаем в небе прорех,
взмывая из всех потрохов.
И нечего будет поставить поверх
застрявших в машинке стихов.

(1988)

* * *

Одесную одну я любовь посажу
и ошую — другую, но тоже любовь.
По глубокому кубку вручу, по ножу.
Виноградное мясо, отрадная кровь.

И начнётся наш жертвенный пир со стиха,
благодарного слова за хлеб и за соль,
за стеклянные эти — 0,8 — меха
и за то, что призрел перекатную голь.

Как мы жили, подумать, и как погода
с наступлением времени двигать назад,
мы, плечами от стужи земной поводя,
воротимся в Тобой навещаемый ад.

Ну а ежели так посидеть довелось,
если я раздаю и вино и ножи —
я горланное слово скажу на авось,
что-то между «прости меня» и «накажи»,

что-то между «прости нас» и «дай нам ремня».
Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле

оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица Твои,
по колено в Тобой сотворённом аду
и по горло в Тобой сотворённой любви.

(1989)

ШКОЛЬНИК

...Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Что он, в сущности, знает о прошлом?
Был он, помнится, ушлым и дошлым.

Ушлый школьник балдеет от книги «Бальзак.
Озорные рассказы» и пишет «казак»,
немудрящему рад палиндрому,
впрочем, рад он и слову второму.
Третье слово, простое само по себе,
вызывает улыбку, «улыбок тебе» —
на доске резюмирует школьник,
и заходятся в классе до коллик.
Это всё однокашники и корешки,
и бесстрашны до первой пробитой башки,
и беспечны отныне до первых
похорон и работы на нервах.

Дошлый школьник не любит советскую власть,
он считает сограждан попавшими в пасть
краснобрюхому Левиафану.
Доверяется он корифану:
«Мы живём, под собою не чуя страны, —
понимаешь? — и нам в ощущение даны
что-то очень херовые вещи,
может, даже Китая похлеще».

Был он ушлым, а сделался скучным, увы.
Потерялись из виду остатки братвы.
За спиною никто не регочет
и стоять на атасе не хочет.

Был он дошлым, а стал доходным. Такова
селяви. Как разденется он догола,
так без слёз и не глянешь в зеркало,
что отчаянный секс порицало.
Разомкнуло чудовище смрадную пасть,
а шагнуть из неё — в невесомость попасть,
так что бывшему школьнику выход
не сулит ни свободы, ни выгод.

Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та,
но пока не сковала его немота,
да не сделаем вывод поспешный.
Вдруг отыщется выход успешный?

(1989)

* * *

Куда ты, куда ты... Ребёнка в коляске везут,
и гроб на плечах из подъезда напротив выносят.
Ремесленный этот офорт, этот снег и мазут,
замешенный намертво, взять на прощание просят.

Хорошие люди, не хочется их обижать.
Спасибо, спасибо, на первый же гвоздь обещаю
повесить. Как глупо выходит — собрался бежать,
и сиднем сидишь за десятою чашкою чаю.

Тебя угощали на этой земле табаком.
Тряпьём укрывали, будильник затурканный тикал.
Оркестр духовой отрывался в саду городском.
И ты отщепенцам седым по-приятельски тыкал.

Куда ты, куда ты... Не свято и пусто оно.
Не встанет коляска, и гроб над землёю зависнет.
«Не пёс на цепи, но в цепи неразрывной звено», —
промолвит такое и от удивленья присвистнет.

(1989)

* * *

В. Г.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
в ночное окно.
Я слушаю, на спину я перелёг.
И мне не темно.

Стучит мотылёк, стучит мотылёк
собой о стекло.
Я завтра уеду, и путь мой далёк.
Но мне не светло.

Подумаешь жизнь, подумаешь жизнь,
недолгий завод.
Дослушай томительный стук и ложись
опять на живот.

(1994)

* * *

Разгуляется плотник, развяжет рыбак,
стол осядет под кружками враз.
И хмелеющий плотник промолвит: «Слабак,
на минутку приблизься до нас».

На залитом глазу, на глазу голубом
замигает рыбак, веселясь:
«Напиши нам стихами в артельный альбом,
вензелями какими укрась.

Мы охочи до чтенья высокого, как
кое-кто тут до славы охоч.
Мы библейская рифма, мы «плотник-рыбак»,
потеснившие бездну и ночь.

Мы несли караул у тебя в головах
за бесшумным своим домино
и окно в январе затворяли впотьмах,
чтобы в комнату не намело.

Засидевшихся мы провожали гостей,
по углам разгоняли тоску,
мы продрогли в прихожей твоей до костей
и гуляем теперь в отпуску...»

(1990)

Стихотворения к Эмили Мортимер

Тебе – но голос музы тёмной...

А. Пушкин

1

Словно пятна на белой рубаше,
проступали похмельные страхи,
да поглядывал косо таксист.
И химичил чего-то такое,
и почёсывал ухо тугое,
и себе говорил я «окстись».

Ты славянскими бреднями бредишь,
ты домой непременно доедешь,
он не призрак, не смерти, никто.
Молчаливый работник приварка,
он по жизни из пятого парка,
обыватель, водитель авто.

Заклиная мятущийся разум,
зарекался я тополем, вязом,
овощным, продуктовым, – трясло, –
ослепительным небом на вырост.
Бог не фраер, не выдаст, не выдаст.
И какое сегодня число?

Ничего-то три дня не узнает,
на четвёртый в слезах опознает,
ну а юная мисс между тем,
проезжая по острову в кэбе,
заприметит явление в небе:
кто-то в шашечках весь пролетел.

2

Усыпала платформу лузгой,
удушала духами «Кармен»,
на один вдохновляла другой
с перекрёстной рифмой катрен.

Я боюсь, она скажет в конце:
своего ты стыдился лица,
как писал — изменялся в лице.
Так меняется у мертвеца.

То во образе дивного сна
Амстердам, и Стокгольм, и Брюссель.
То бессонница, Танька одна,
лесопарковой зоны газель.

Шутки ради носила манок,
поцелуй — говорила — сюда.
В коридоре бесился щенок,
но гулять не спешили с утра.

Да и дружба была хороша,
то не спички гремят в коробке —
то шуршит в коробке анаша
камышом на волшебной реке.

Удалось. И не надо му-му.
Сдачи тоже не надо. Сбылось.
Непостижное, в общем, уму.
Пролетевшее, в общем, насквозь.

3

Говори, не тушуйся, о главном:
о бретельке на тонком плече,
поведенье замка своенравном,
заточённом под коврик ключе.

Дверь откроется – и на паркете,
растекаясь, рябит светотень,
на жестянке, на стоптанной кеде.
Лень прибраться и выбросить лень.

Ты не знала, как это по-русски.
На коленях держала словарь.
Чай вприкуску. На этой «прикуске»
осторожно, язык не сломай.

Воспалённые взгляды туземца.
Танцы-шманцы, бретелька, плечо.
Но не надо до самого сердца.
Осторожно, не поздно ещё.

Будьте бдительны, юная леди.
Образумься, дитя пустырей.
На рассказ о счастливом билете
есть у Бога рассказ постарей.

Но, обнявшись над невским гранитом,
эти двое стоят дотемна.
И матрёшка с пятном знаменитым
на Арбате приобретена.

4

«Интурист», телеграф, жилой
дом по левую — Боже мой —
руку. Лестничный марш, ступень
за ступенью... Куда теперь?
Что нам лестничный марш поёт?
То, что лестничный всё пролёт.
Это можно истолковать
в смысле «стоит ли тосковать?».

И ещё. У Никитских врат
сто на брата — и чёрт не брат,
под охраною всех властей
странный дом из одних гостей.
Здесь проездом томился Блок,
а на память — хоть шерсти клок.
Заклучим его в медальон,
до отбитых краёв дольём.

Боже правый, своим перстом
эти крыши пометь крестом,
аки крыши госпиталей.
В день назначенный пожалей.

5

Через сиваш моей памяти, через
кофе столовский и чай бочковой,
через по кругу запущенный херес
в дебрях черёмухи у кольцевой,
«Баней» Толстого разбуженный эрос,
выбор профессии, путь роковой.

Тех ещё виршей первейшую читку,
страшный народ — борода к бороде, —
слух напрягающий. Небо с овчинку,
сомнамбулический ход по воде.
Через погост раскусивших начинку.
Далее, как говорится, везде.

Знаешь, пока все носились со мною,
мне предносилось виденье твоё.
Вот я на ворота пятна замою,
переменю торопливо бельё.
Радуйся — ангел стоит за спиною!
Но почему опершись на копье?

(1991)

Отъезд

Подогретый асфальт печёт.
И подстриженный куст стоит.
И ухоженный старичок
отрицает, что он старик.

И волынка мычит на том
(так что не обогнуть) углу,
объясняя зашитым ртом,
что зашили в него иглу.

Пролетает судьба верхом,
вся с иголочки до колёс,
в майке с надписью Go Home
на растерянный твой вопрос.

Раздражённым звенит звонком
на рассеянный твой протест...
Время пепельницы тайком
выносить из питейных мест.

(1990)

* * *

И будет он как дерево,
посажённое при потоках вод,
которое приносит...

Псалтирь

Сей достоверный признак жизни дрожь,
в котором видел слабость и доuku,
прохватит напоследок — и хорош...
Учитель мой, спасибо за науку.

Я был готов. И руку под углом
я подымал под гулкий ропот класса.
И опускал на огненный псалом
«и будет он как дерево...» и клялся.

От первых до последних клятв моих
в сём «лучшем из» слетело столько петель,
что первое, что вспомнишь, — ряд дверных
проёмов и прогалов. Ты свидетель.

Душа, пьяна, пойдёт наискосок.
Покружит над больницей и топкой.
Она черкнёт последний адресок
в сороковины водочною пробкой.

Он был готов. И он теперь она.
Душа. И это за игру словами
расплата, это тайна, это на-
тюрморт с непринесёнными плодами.

(1990)

Январские стихи

1

Видишь, наша Родина в снегу.
Напрочь одичалые дворы
и автобус жёлтый на кругу —
наши новогодние дары.

Поднеси грошовую свечу,
купленную в Риге в том году, —
как сумею сердце раскручу,
в белый свет, прицелясь, попаду.

В белый свет, как в мелкую деньгу,
медный неразменный талисман.
И в автобус жёлтый на кругу
попаду и выверну карман.

Родина моя галантерей,
в реках отразившихся лесов,
часовые гирьки снегирей
подтяни да отопри засов,

едут, едут, фары, бубенцы.
Что за диво — не пошла по шву.
Льдом свела, как берега, концы.
Снегом занесла разрыв-траву.

(1988)

2

И в минус тридцать, от конфорок
не отводя ладоней, мы —
«спасибо, что не минус сорок» —
отбреем панику зимы.

Мы видим чёрные береты,
мы слышим шутки дембелей,
и наши белые билеты
становятся ещё белей.

Ты не рассчитывал на вечность,
души приبلудной инженер,
в соблазн вводящую конечность
по-человечески жалел.

Ты головой стучался в бубен.
Но из игольного ушка
корабль пустыни «все там будем» —
шепнул тебе исподтишка.

Восславим жизнь — иной предтечу!
И, с вербной веточкой в зубах,
военной технике навстречу
отважимся на двух горбах.

Восславим розыгрыш, обманку,
странноприимный этот дом.
И честертонову шарманку
во все регистры заведём.

(1990)

Рождение. Школа. Больница.
Столица на липком снегу.
И вот за окном заграница,
похожа на фольгу-фольгу,

цветную, из комнаты детской,
столовой и спальной сиречь,
из прошлой навеки, советской,
которую будем беречь

всю жизнь. И в музее поп-арта
пресыщенной черни шаги
нет-нет да замедлит грин-карта
с приставшим кусочком фольги.

И голубь, от холода сизый,
взметнётся над лондонским дном,
над телом с просроченной визой
в кармане плаща накладном.

И призрачно вспыхнет держава
над еврокаким-нибудь дном,
и бобби смутят и ажана
корявые нэйм и преном.

А в небе, похлеще пожара,
и молот, и венчик тугой
колосьев, и серп, и держава
со всею пенькой и фольгой.

(1992)

Ирландия

1. Белфаст

Скоро, скоро будет теплынь,
долголядые май-июнь.
Дотяни до них, довольнь.
Постучи по дереву, сплюнь.

Зренью зябкому Бог подаст
на развод золотой пятак,
густо-синим зальёт Белфаст.
Это странно, но это так.

2

Бенджамину Маркизу-Гилмору

Неподалёку от казармы
живёшь в тиши.
Ты спишь, и сны твои позорны
и хороши.

Ты нанят как бы гувернёром,
и час спутя
ужо возьмёт тебя измором
как бы дитя.

А ну вставай, учёный немец,
мосье француз.
Чуть свет в окне — готов младенец
мотать на ус.

И это лучше, чем прогулка
ненастным днём.
Поправим плед, прочистим горло,
читать начнём.

Сама достоинства наука
у Маршака
про деда глупого и внука,
про ишака —

как перевод восточной байки.
Ах, Бенджамин,
то Пушкин молвил без утайки:
живи один.

Но что поделать, если в доме
один Маршак.
И твой учитель, между нами,
да-да, дружок...

Такое слово есть «фиаско».
Скажи, смешно?
И хоть Белфаст, хоть штат Небраска,
а толку что?

Как будто вещь осталась с лета
лежать в саду,
и в небесах всё меньше света
и дней в году.

3. Баллимакода

За счастливый побег! — ничего себе тост.
Так подмигивай, скалься, глотай, одурев
от виски с прицепом и джина внахлёт,
четверть века встречая в ирландской деревне.

За бильярдную удаль крестьянских пиров!
И контуженый шар выползает на пузе
в электрическом треске соседних шаров,
и улов разноцветный качается в лузе.

А в крови «Джонни Уокер» качает права.
Полыхает огнём то, что зыбилося жижей.
И клонится к соседней твоя голова
промежуточной масти — не чёрной, не рыжей.

Дочь трактирщика — это же чёрт побери.
И блестящий бретёр каждой бочке затычка.
Это как из любимейших книг попури.
Дочь трактирщика, мало сказать — католичка.

За бумажное сердце на том гарпуне
над камином в каре полированных лавок!
Но сползает, скользит в пустоту по спине,
повисает рука, потерявшая навык.

Вольный фермер бубнит про навоз и отёл.
И, с поклоном к нему и другим выпивохам,
поднимается в общем-то где-то бретёр
и к ночлегу неблизкому тащится пёхом.

(1992)

* * *

Забудь раздельный звук и призыв слитный,
малороссийский выговор живой
и на пороге малогабаритной
квартиры — поцелуй как таковой.

Забудь пикник на станции Красково,
на станции Кусково перерыв
в движенье поездов. Ещё не скоро.
Прищур окрестной зелени игрив.

Избыток жизни в судорожном теле
и смену поз — не спрашивай зачем.
Спроси, зачем сменяются недели
на месяцы и годы. В «академ»

уходит второкурсница, на третьем
её партнер (по слухам, андрогин)
спивается, становится отребьем.
Но этот слух сменяется другим.

Итак, забудь. Смотри не перепутай,
а то забудешь что-нибудь не то.
Тот выговор, усиленный минутой
беспамятства, и дачное лото, —

дурачится, глядит в кулак и тянет,
мешочек перетряхивает. Ну?!
Подходит поезд, поезд ждать не станет
как таковую молодость одну.

(1992)

* * *

Казалось, внутри поперхнётся вот-вот
и так ОТК проскочивший завод,
но ангел стоял над моей головой.
И я оставался живой.

На тысячу ватт замыкало ампер,
но ангельский голос не то чтобы пел,
не то чтоб молился, но в тёмный провал
на воздух по имени звал.

Всё золото Праги и весь чуингам
Манхэттена бросить к прекрасным ногам
я клялся, но ангел планиды моей
как друг отсоветовал ей.

И ноги поджал к подбородку зверёк,
как требовал знающий вдоль-поперёк –
«за так пожалей и о клятвах забудь».
И оберег бился о грудь.

И здесь, в январе, отрицающем год
минувший, не вспомнить на стуле колгот,
бутылки за шкафом, еды на полу,
мочала, прости, на колу.

Зажги сигаретку да пепел стряхни,
по средам кино, по субботам стряпни,
упрёка, зачем так набрался вчера,
прощенья, и etc. –

не будет. И ангел, стараясь развлечь,
заводит шарманку про русскую речь,
вот это, мол, вещь. И приносит стило.
И пыль обдувает с него.

Ты дым выдыхаешь-вдыхаешь, губя
некрепкую плоть, а как спросят тебя
насмешник Мефодий и умник Кирилл:
«И много же ты накурил?»

И мене и текел всему упарсин.
И стрелочник Иов допёк, упросил,
чтоб вашему брату в потёмках шептать
«вернётся, вернётся опять».

На чудо положимся, бросим чудить,
как дети, каракули сядем чертить.
Глядишь, из прилежных кружков и штрихов
проглянет изнанка стихов.

Глядишь, заработает в горле кадык,
начнёт к языку подбираться впритык.
А рот, разлепившийся на две губы,
прощенья просить у судьбы...

(1993)

* * *

Слушай же, я обещаю и впредь
петь твоё имя благое.
На ухо мне наступает медведь —
я подставляю другое.

Чу, колокольчик в ночи загремел.
Кто гоношит по грязи там?
Тянет безропотный русский размер
бричку с худым реквизитом.

Певчее горло дерёт табачок.
В воздухе пахнет аптечкой.
Как увлечён суходрочкой сверчок
за крематорскую печкой!

А из трубы идилический дым
(прямо на детский нагрудник).
«Этак и вправду умрёшь молодым», —
вслух сокрушается путник.

Так себе песнь небольшим тиражом.
Жидкие аплодисменты.
Плеск подступающих к горлу с ножом
Яузы, Леты и Brentы.

Голос над степью, наплаканный всласть,
где они, пеший и конный?
Или выходит гримасами страсть
под баритон граммофонный?

(1992)

* * *

А мы, Георгия Иванова
ученики не первый класс,
с утра рубля искали рваного,
а он искал сердешных нас.

Ну, встретились. Теперь на Бронную.
Там, за стеклянными дверьми,
цитату выпали коронную,
сто грамм с достоинством прими.

Стаканчик бросовый, пластмассовый
не устоит пустым никак.
— Об Ариостовой и Тассовой
не надо дуру гнать, чувак.

О Тассовой и Ариостовой
преподавателю блесни.
Полжизни в Гомеле навёрстывай,
ложись на сессии костями.

А мы — Георгия Иванова,
а мы — за Бога и царя
из лакированного наново
пластмассового стопаря.

...Когда же это было, Господи?
До Твоего явления нам
на каждом постере и простыне
по всем углам и сторонам.

Ещё до бело-сине-красного,
ещё в зачётных книжках «уд»,
ещё до капитала частного.
— Не ври. Так долго не живут.

Довольно горечи и мелочи.
Созвучий плоских и чужих.
Мы не с Тверского — с Бронной неучи.
Не надо дуру гнать, мужик.

Открыть тебе секрет с отсрочкою
на кругосветный перелёт?
Мы проиграли с первой строчкою.
Там слов порядок был не тот.

(1994)

* * *

В какой бы пух и прах он нынче ни рядился.
Под мрамор, под орех...
Я город разлюбил, в котором я родился.
Наверно, это грех.

На зеркало пенять — не отрицаю — неча.
И неча толковать.
Не жалобясь, не злясь, не плача, не перечая,
вещички паковать.

Ты «зеркало» сказал, ты перепутал что-то.
Проточная вода.
Проточная вода с казённого учета
бежит, как ото льда.

Ей тошно поддавать всем этим гидрам, домнам —
и рвётся из клешней.
А отражать в себе страдальца с ликом томным
ей во сто крат тошней.

Другого подавай, а этот... этот спёкся.
Ей хочется балов.
Шампанского, интриг, кокоса, а не кокса.
И музыки без слов.

Ну что же, добрый путь, живи в ином пейзаже
легко и кочево.
И я на последях на зимней распродаже
заначил кой-чего.

Нам больше не носить обносков живописных,
вельвет и габардин.
Предание огню предписано на тризнах.
И мы ль не предадим?

В огне чадит тряпьё и лопается тара.
Товарищ костровой,
поярче разведи, чтоб нам оно предстало
с прощальной остротой.

Всё прошлое, и вся в окурках и отходах,
лилейных лепестках,
на водах рожениц и на запретных водах,
кисельных берегах,

закрученная жизнь. Как бритва на резинке.
И что нам наколоть
на память, на помин... Кончаются поминки.
Довольно чушь молоть.

(1993)

* * *

N.

Повисает рука, отмирает моя голова.
И с похмелья в глазах темно. Похмелью — темно.
Ты не любишь меня, ты не знаешь, как ты права.
Но... А впрочем, какое нам остаётся «но»?

Принадлежность постельную можно в ночи кусать.
Можно чиркнуть лезвием — выйдет ни то ни сё.
Можно бросить всё. Но не стоит всего бросать.
Надо что-то оставить. А значит, оставить всё.

Вот потому и славится в вышних, иных мирах.

Переплетаясь в объятиях, как бы в мирах иных,
помнили и в беспамятстве, кто мы такие — прах.
И восклицали Господи! на языках земных.

(1994)

Телемахида

Телемак Эвхарису встречает в пути.
Свой корабль он сжигает дотла.
— Извини меня, Ментор, с добром отпусти.
Ложе брачное лучше одра.

И срывается Ментор на мат-перемат.
Но доносится голос, высок:
«Не тужи о своём корабле, Телемак,
это дерева только кусок.
Не тужи об отце, он давно заторчал
у такой же, как нимфа твоя.
Он таких — чтоб сказать поприличнее — чар
поотведал, такого питья
из распахнутых уст, из кувшинов живых,
перевёрнутых к небу вверх дном,
что его ни один не волнует жених
и ни все женихи табуном.
Добрый день вам, счастливицы, попавшие в цель.
Вы доплыли до правильных стран.
Человечества станут качать колыбель
чудо-нимфы героям в пандан».

Только ментор кричит: подымись, Телемак.
И Улисса Афина зовёт.
И от вёсельных топких тошнит колымаг,
от сыновних-отцовских забот.

Ты ревнива, Афина. Ты хочешь любви.
И доспехи истомой текут.
Покоряемся воле. Но мы не твои.
Ничего. Скоро боги умрут.

(1994)

Россия

...плат узорный до бровей.

А. Блок

Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зелёным хрустом,
ни плата тебе, ни косынки —
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка — пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали своё на рейхстаге.
Своё — это грех, нищета, кабала.
Но *чем* ты была и *зачем* ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листовая.

Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесём — и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево — умрёшь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.

(1992)

* * *

С полной жизнью налью стакан,
приберу со стола к рукам,
как живой подойду к окну
и такую вот речь толкну:

Десять лет проливных ночей,
понадкусанных калачей,
недоеденных бланманже:
извиняюсь, но я уже.
Я запомнил призывный жест,
но не помню, какой проезд,
переулок, тупик, проспект,
шторы тонкие на просвет,
утро раннее, птичий грай.
Ну не рай. Но почти что рай.

Вот я выразил, что хотел.
Десять лет своих просвистел.
Набралось на один куплет.
А подумаешь — десять лет.
Замыкая порочный круг,
я часами смотрю на крюк.
И ему говорю, крюку,
«ты чего? я ещё в соку».
Небоскрёбам, мостам поклон.
Вы сначала, а я потом.

Я обломок страны, совок.
Я в послании. Как плевок.
Я был послан через плечо
граду, миру, кому ещё?
Понимает моя твоя.
Не поймёт ли твоя моя?
Как в лицо с тополей мело,
как спалось мне малым-мало.
Как назад десять лет тому
граду, миру, ещё кому?
про себя сочинил стишок —
и чужую тахту прожёт.

(1994)

Поэзия

Встанешь не с той ноги,
выйдут не те стихи.
Господи, помоги,
пуговку расстегни

ту, что под горло жмёт,
сколько сменил рубах,
сколько сменилось мод...
Мёд на моих губах.

Замысел лучший Твой,
дарвиновский подвид,
я, как смешок кривой,
чистой слезой подмыт.

Лабораторий явь:
щёлочи отними,
едких кислот добавь,
перемешай с людьми,

чтоб не трепал язык
всякого свысока,
сливки слизнув из их
дойного языка.

Чокнутый господин
выбрал лизать металл,
голову застудил,
губы не обметал.

Губы его в меду.
Что это за синдром?
Кто их имел в виду
в том шестьдесят седьмом?

Как бы ни протекла,
это *моя* болезнь —
прыгать до потолка
или на стену лезть.

Что ты мне скажешь, друг,
если не бредит Дант?
Если девятый круг
светит как вариант?

Город-герой Москва,
будем в восьмом кругу.
Я — за свои слова,
ты — за свою деньгу.

Логосу горячо
молится протезе:
я не готов ещё,
как говорил уже.

(1995)

* * *

От отца мне остался приёмник — я слушал эфир.
А от брата остались часы, я сменил ремешок
и носил, и пришла мне догадка, что я некрофил,
и припомнилось шило и вспоротый шилом мешок.

Мне осталась страна — добрым молодцам вечный наказ.
Семерых закопают живьём, одному повезёт.
И никак не пойму, я один или семеро нас.
Вдохновляет меня и смущает такой эпизод:

как Шопена мой дед заиграл на басовой струне
и сказал моей маме: «Мала ещё старших корить.
Я при Сталине пожил, а Сталин загнулся при мне.
Ради этого, деточка, стоило бросить курить».

Ничего не боялся с Трёхгорки мужик. Почему?
Потому ли, как думает мама, что в тридцать втором
ничего не бояться сказала цыганка ему.
Что случится с Иваном — не может случиться с Петром.

Озадачился дед: «Как известны тебе имена?!»
А цыганка за дверь, он вдогонку, а дверь заперта.
И тюрьма и сума, а потом мировая война
мордовали Ивана, уча фатализму Петра.

Что печатными буквами писано нам на роду —
не умеет прочесть всероссийский народный Смирнов.
«Не беда, — говорит, навсегда попадая в беду, —
где-то должен быть выход». Ба-бах. До свиданья, Смирнов.

Я один на земле, до смешного один на земле.
Я стою как дурак, и стрекочут часы на руке.
«Береги свою голову в пепле, а ноги в тепле» —
я сберёг. Почему ж ты забыл обо мне, дураке?

Как юродствует внук, величаво немотствует дед.
Умирает пай-мальчик и розгу целует взасос.
Очертанья предмета надёжно скрывают предмет.
Вопрошает ответ, на вопрос отвечает вопрос.

(1995)

Silk Cut

...Опускаясь со дна, поднимаясь на дно,
я запомнил с часами костёл.
Начиналось на станции Ангел оно,
у Семи продолжалось Сестёр.

Развлекательный пирс на морском берегу,
всё быстрее и быстрее карусель.
Веселись не хочу, хохочи не могу,
а ребяческий страх пересиль.

Маракует астролог тире хиромант
и по звёздам читает ладонь.
Не смертельно, что мой гороскоп хероват,
а её гороскопа не тронь.

В небесах замирает навывтяжку змей,
напрягается трос-окорот.
Истукана из лавки восточной прямой
этот викторианский курорт.

Отступает волна, подступает волна,
выступает на площади мим.
Как она, одинаков во все времена,
а сегодня ни с чем не сравним.

Silk Cut – «Шёлковый разрез» (англ.), популярная в Британии марка сигарет.

А по волнам трассирует камень-голыш
и почти настигает закат,
и вбирает с ладони ливанский гашиш
по-британски терпимый Silk Cut.

И зеркальная вывеска «завтрак-ночлег»,
и хозяина вежливый стук,
и горящий ночник, как он утром поблек,
одеяла узорный лоскут.

Не стучи, не тревожь, мы не спим одна.
Как рукой удержать жернова?
Я пишу на обложке буклета слова,
а она как волна, как трава, —

перемелется всё, перемолотый сор
отклубится и ляжет под пресс.
Как две капли ни с чем не сравнимый узор
через шёлковый вспыхнет разрез.

(1995)

Памяти Сергея Новикова

Все слова, что я знал, — я уже произнёс.
Нечем крыть этот гроб-пуховик.
А душа сколько раз уходила вразнос,
столько раз возвращалась. Привык.

В общем, Царствие, брат, и Небесное, брат.
Причастись необманной любви.
Слышишь, вечную жизнь православный обряд
обещает? — на слове лови.

Слышишь, вечную память пропел-посулил
на три голоса хор в алтаре
тем, кто ночь продержался за свой инсулин
и смертельно устал на заре?

Потерпеть, до поры не накладывать рук,
не смежать лиловеющих век —
и широкие связи откроются вдруг,
на Ваганьковском свой человек.

В твёрдый цент переводишь свой ломаный грош,
а выходит — бессмысленный труд.
Ведь могильщики тоже не звери, чего ж,
понимают, по курсу берут.

Ты пришёл по весне и уходишь весной,
ты в иных повстречаешь краях
и со строчной отца, и Отца с прописной.
Ты навеки застрял в сыновьях.

Вам не скучно втроём, и на гробе твоём,
чтобы в грех не вводить нищету,
обломаю гвоздики — известный приём.
И нечётную розу зачту.

(1995)

* * *

жене

Долетит мой ковёр-самолёт
из заморских краев корабельных,
и отечества зад наперёд —
как накатит, аж слёзы на бельмах.

И, с таможней разделавшись враз,
рядом с девицей встану красавой:
— Всё как в песне сложилось у нас.
Песне Галича. Помнишь? Той самой.

Мать-Россия, кукушка, ку-ку!
Я очищен твоим снегопадом.
Шапки нету, но ключ по замку.
Вызывайте нарколога на дом!

Уж меня хоронили дружки,
но известно крещёному люду,
что игольные ушки узки,
а зоилу трудней, чем верблюду.

На-кась выкуси, всякая гнусь!
Я обветренным дядей бывалым
как ни в чём не бывало вернусь
и пройдусь по знакомым бульварам.

Вот Охотный бахвалится ряд,
вот скрипит и косится Каретный,
и не верит слезам, говорят,
ни на грош этот город *конкретный*.

Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы этак назвать поточней,
но не грубо? — А так: **ненавижу**

загулявшее это хамьё,
эту псарню под вывеской «Ройял».
Так устроено сердце моё,
и не я моё сердце устроил.

Но ништо, проживём и при них,
как при Лёне, при Мише, при Грише.
И порукою — этот вот стих,
только что продиктованный свыше.

И ещё. Как наследный москвич
(гол мой зад, но античен мой перед),
клевету отвергаю: опричь
слёз она ничему и не верит.

Вот моя расписная слеза.
Это, знаешь, как зёрнышко риса.
Кто я был? Корабельная крыса.
Я вернулся. Прости меня за...

(1995)

Музыка

Нас тихо сживает со света
и ласково сводит с ума
покладистых — музыка эта,
строптивых — музыка сама.

Ну чем, как не этим, в Париже
заняться — *сгореть изнутри?*
Цыганское «по-го-во-ри же»
вот так по слогам повтори.

И произнесённое трижды
на север, на ветер, навзрыд —
оно не обманет. Поди ж ты,
горит. Как солома горит!

Поехали, сено-солома,
листва на бульварном кольце...
И запахом мяса сырого
дымок отзовется в конце.

А музыка ахнет гитаркой,
пускаясь наперегонки,
слабея и делаясь яркой,
как в поле ночном огоньки.

(1995)

* * *

Я прошёл, как проходит в метро
человек без лица, но с поклажей,
по стране Левитана пейзажей
и советского информбюро.

Я прошёл, как в музее каком,
ничего не подвинул, не тронул,
я отдал своё семя как донор
и с потомством своим не знаком.

Я прошёл все слова словаря,
все предлоги и местоименья,
что достались мне вместо имения,
воя черни и ласки царя.

Как слепого ведёт поводырь,
провела меня рифма-богиня:
— Что ты, милый, какая пустыня?
Ты бы видел — обычный пустырь.

Ухватившись за юбку её,
доверяя единому слуху,
я провёл за собой потаскуху
рифму, ложь во спасенье моё...

(1996)

Травиата

1

Я помню, я стоял перед окном
тяжёлого шестого отделения
и видел парк — не парк, а так, в одном
порядке как бы правильном деревья.
Я видел жизнь на много лет вперёд:
как мечется она, себя не зная,
как чаевые, кланяясь, берёт.

Как в ящике музыка заказная
сверкает всеми кнопками, игла
у чёрного шиповника-винила,
поглаживая, стебель напрягла
и выпила; как в ящик обронила
иглою обескровленный бутон
нехитрая механика, защёлкав,
как на осколки разлетелся он,
когда-то сотворённый из осколков.

Вот эроса и голоса цена.
Я знал её, но думал, это фата-
моргана, странный сон, галлюцина-
ция, я думал — виновата
больница, парк не парк в окне моём,
разросшаяся дырочка укола,
таблицы Менделеева приём
трехразовый, намёка никакого
на жизнь мою на много лет вперёд
я не нашёл. И вот она, голуба,
поёт и улыбается беззубо
и чаевые, кланяясь, берёт.

Я вымучил естественное слово,
 я научился к тридцати годам
 дыханью помещения жилого,
 которое потомку передам:
 вдохни мой хлеб, «житан» от слова «жито»
 с каннабисом от слова «небеса»,
 и плоть мою вдохни, в неё зашито
 виденье гробовое: с колеса
 срывается, по крови ширясь, обод,
 из лёгких вытесняя кислород,
 с экрана исчезает фоторобот —
 отцовский лоб и материнский рот —

лицо моё. Смеркается. Потомок,
 я говорю поплывшим влево ртом:
 как мы вдыхали перья незнакомок,
 вдохни в своём немыслимом потом
 любви моей с пупырышками кожу
 и каплями на донышках ключиц,
 я образа её не обезбожу,
 я ниц паду, целуя самый ниц.
 И я забуду о тебе, потомок.

Солирующий в кадре голос мой,
 он только хора древнего обломок
 для будущего и охвачен тьмой...
 А как же листья? Общим планом — листья,
 на улицах ломается комедь,
 за ней по кругу с шапкой ходит тристья
 и принимает золото за медь.
 И если крупным планом взять глазастый
 светильник — в крупный план войдёт рука,
 но тронуть выключателя не даст ей
 сокрытое от оптики пока.

(1996)

1996

Бродят стайками, шайками сироты,
инвалиды стоят, как в строю.
Вкруг Кремля котлованы повырыты,
здесь построят мечту не мою.
Реет в небе последняя лётчица,
ей остался до пенсии год.
Жить не хочется, хочется, хочется,
камень точится, время идёт.

Караоке

Обступает меня тишина,
предприятие смерти дочернее.
Мысль моя, тишиной внушена,
порывается в небо вечернее.
В небе отзвука ищет она
и находит. И пишет губерния.

Караоке и лондонский паб
мне вечернее небо наваяло,
где за стойкой услужливый краб
виски с пивом мешает, как велено.
Мистер Кокни кричит, что озяб.
В зеркалах отражается дерево.

Миссис Кокни, жеманясь чуть-чуть,
к микрофону выходит на подиум,
подставляя колени и грудь
популярным, как виски, мелодиям,
норовит наготовю сверкнуть
в подражании дивам юродивом

и поёт. Как умеет поёт.
Никому не жена, не метафора.
Жара, шороху, жизни даёт,
безнадёжно от такта отстав она.
Или это мелодия врёт,
мстит за рано погибшего автора?

Ты развей моё горе, развей,
успокой Аполлона Есенина.
Так далёко не ходит сабвей,
это к северу, если от севера,
это можно представить живе́й,
спиртом спирт запивая рассеяно.

Это западных веяний чад,
год отмены катушек кассетами,
это пение наших девчат,
пэтэушниц Заставы и Сетуни.
Так майлав и гудбай горячат,
что гасить и не думают свет они.

Это всё караоке одне.
Очи карие. Вечером карие.
Утром серые с чёрным на дне.
Это сердце моё пролетарии
микрофоном зажмут в тишине,
беспардонны в любом полушарии.

Залечи мою боль, залечи.
Ровно в полночь и той же отравую.
Это белой горячки грачи
прилетели за русскою славою,
многим в левую вложат ключи,
а Модесту Саврасову — в правую.

Отступает ни с чем тишина.
Паб закрылся. Кемарит губерния.
И становится в небе слышна
песня чистая и колыбельная.
Нам сулит воскресенье она,
и теперь уже без погребения.

(1996)

Готика

За примерное поведение
(взвейся жаворонком, сова!)
мне под утро придёт видение,
приведёт за собой слова.

Я в глаза своего безумия,
обернувшись совой, глядел.
Поединок – сова и мумия.
Полнолуния передел.

Прыг из трюма петрова ботика,
по великой равнине прыг,
европейская эта готика,
содрогающий своды крик.

Спеси сбили и дурь повыбили –
начала шелестеть, как рожь.
В нашем погребе в три погибели
не особенно поорёшь.

Содрогает мне душу шелестом
в чёрном бархате баронет,
бродит замком свиным щелистым
полукровкой, полунет.

С Люцифером ценой известною
рассчитался за мадригал,
непорочною звал Инцестою
и к сравнению прибежал

с белладонною, с мандрагорою...
Для затравки у Сатаны
заодно с табуном и сворою
и сравнения припасены...

Баронет и сестрица-мумия
мне с проносом проговорят:
— Мы пришли на сеанс безумия
содрогаться на задний ряд.

— Вы пришли на сеанс терпения,
чёрный бархат и белена.
Здесь орфической силой пения
немошь ада одолена.

Люциферова периодика,
Там-где-нас-заждались-издат,
типографий подпольных готика...
Но Орфею до фени ад.

Удручённый унылым зрелищем,
как глубинкою гастролёр,
он по аду прошёл на бреющем,
Босха копию приобрёл.

(1996)

Самопал
(1999)

Случай

в синеве беспечальной
августовской густой
и такой обычной
словно случай пустой
абсолютно случайный
совершенно простой
но шибяущий тайной
за версту за верстой

Качели

Пусть начнёт зеленеть моя изгородь
и качели качаться начнут
и от счастья ритмично повизгивать,
если очень уж сильно качнут.

На простом деревянном сиденье,
на верёвках, каких миллион,
подгибая мыски при падении,
ты возносишься в мире ином.

И мысками вперёд инстинктивными
в *этот* мир порываешься вновь:
раз — сравнилась любовь со светилами,
два-с — сравнялась с землёю любовь.

Игра в напёрстки

С чего начать? — Начни с абзаца,
не муж, но мальчик для битья.
Казаться — быть — опять казаться...
В каком напёрстке жизнь твоя?

— Всё происходит слишком быстро,
и я никак не уловлю
ни траектории, ни смысла.
Но резвость шарика люблю.

Катись, мой шарик не железный,
и, докатившись, замирай,
звездой ивановной и бездной,
как и они тобой, играй.

* * *

Ты помнишь квартиру, по-нашему – флэт,
где женщиной стала герла?
Так вот, моя радость, теперь её нет,
она умерла, умерла.

Она отошла к утюгам-челнокам,
как, в силу известных причин,
фамильные метры отходят к рукам
ворвавшихся в крепость мужчин.

Ты помнишь квартиру: прожектор луны,
и мы, как в Босфоре, плывём,
и мы уплываем из нашей страны
навек, по-собачьи, вдвоём?

Ещё мы увидим всех турок земли...
Ты помнишь ли ту простоту,
с какой потеряли и вновь навели
к приезду родных чистоту?

Когда-то мы были хозяева тут,
но всё нам казалось не то:
и май не любили за то, что он труд,
и мир уж не помню за что.

Только для белок

простите белки красно-серые
с небес сбежавшие поесть
что я то верю то не верую
что вы и мы на свете есть

на берегу залива финского
в лесу воистину стоим
а может только верим истово
как белочки глазам своим

* * *

Это было только метро кольцо,
это «о» сквозное польстит кольцу,
это было близко твоё лицо
к моему в темноте лицу.

Это был какой-то неровный стык.
Это был какой-то дуги изгиб.
Свет погас в вагоне — и я постиг —
свет опять зажётся — что я погиб.

Я погибель в щёку поцеловал,
я хотел и в губы, но свет зажгли,
как пересчитали по головам
и одну пропащую не нашли.

И меня носило, что твой листок,
насыпало полные горсти лет,
я бросал картинно лёта в поток,
как окурки фирменных сигарет.

Я не знал всей правды, сто тысяч правд
я слышал, но что им до правды всей...
И не видел Бога. Как космонавт.
Только говорил с Ним. Как Моисей.

Нет на белом свете букета роз
ничего прекрасней и нет пошлей.
По другим подсчётам — родных берёз
и сиротской влаги в глазах полей.

«Ты содержишь градус, но ты — духи, —
утирает Правда рабочий рот. —
Еслигодились твои стихи,
не жалей, что как-то наоборот...»

* * *

1

Как можно глубже дым вдохни,
не выдыхай как можно дольше —
и нет ни горцев, ни войны,
и панства нет, и членства Польши.

Когда б не Пушкин, то чихал
бы я на всё на это, право.
Скажите, кто это — Джохар?
Простите, где это — Варшава?

2

Тридцать один. Ем один. Пью один.
С жадностью роюсь
в кучке могучей, что твой Бородин,
в памяти то есть.

Вижу — в мой жемчуг подмешан навоз.
И проклиная,
но накладных не срываю волос,
грим не смываю.

* * *

слышишь как птицы кричат на заре
а не поют
мухи холодные петь в январе
им не дают

галки вороны и кто-то чужой
видно в бегах
по-человечьи стоят над душой
перья в снегах

* * *

вспомнишь старую байку актёрскую
незабвенную фанни раневскую
с папироской в зубах беломорскою
обнажённую и богомерзкую

и волна беспричинная ярости
за волною поднимется гнева
вот какой ты сподобилась старости
голубиная русь приснодева

* * *

счастливая с виду звезда
с небес обещает всю ночь
пока под мостом есть вода
любить эту воду как дочь

пока остаются поля
а мимо бегут поезда
и в море уходит земля
любить обещает звезда

* * *

я не нарушу тишины
твой тихий мёртвый час
пусть лучшие твои сыны
поспят в последний раз

спустись поэзия навей
цветные сны сынам
возьми повыше и левей
и попади по нам

* * *

Пойдём дорогою короткой,
я знаю тут короткий путь,
за хлебом, куревом, за водкой.
За киселём. За чем-нибудь.

Пойдём расскажем по дороге
друг другу жизнь свою: когда
о светлых ангелах подмоги,
а то — о демонах стыда.

На карнавале окарина
поёт и гибнет, ча-ча-ча,
не за понюшку кокаина
и не за чарку первача.

Поёт, прикованная цепью
к легкозаносчивой мечте,
горит расширенную степью
в широкосуженном зрачке.

Пойдём, нас не было в природе.
Какой по счёту на дворе
больного Ленина Володи
сон в лабрадоровом ларе?

Темна во омуте водица,
на Красной площади стена —
земля, по логике сновидца,
и вся от времени темна.

Пойдём дорогою короткой
за угасающим лучом,
интеллигентскою походкой
матросов конных развлечём.

Открытки в бутылке

1

как орлята с казённой постели
пионерской бессонницы злой
новизной онанизма взлетели
над оплаканной горном землёй

и летим словно дикие гуси
лес билибинский избы холмы
на открытке наташе от люси
с пожеланьем бессмертия мы

2

Школьной грамоты, карты и глобуса
взгляд растерянный из-под откоса.
«Не выёбывайся... Не выёбывайся...» —
простучали мальчишке колёса.

К морю Чёрному Русью великою
ехал поезд; я русский, я понял
непонятную истину дикую,
сколько б враг ни пытал, ни шпионил.

3

Рабоче-крестьянская поза
названьем подростка смущала,
рабоче-крестьянская проза
изюминки не обещала.

Хотелось парнишке изюмцу
в четырнадцать лет с половиной –
и ангелы вняли безумцу
с улыбкою, гады, невинной.

4

Э. М.

Когда моя любовь, не вяжущая лыка,
упала на постель в дорожных башмаках,
с возвышенных подошв – шерлокова улика –
далёкая земля предстала в двух шагах.

Когда моя любовь, ругаясь, как товарищ,
хотела развязать шнурки и не могла,
«Зерцало юных лет, ты не запотеваешь», –
серьёзно и светло подумалось тогда.

5

Отражают воды карьера драгу,
в глубине гуляет зеркальный карп.
Человек глотает огонь и шпагу,
донесенья, камни, соседский скарб.

Человека карп не в пример умнее.
Оттого-то сутками через борт,
над карьером блёснами пламеня,
как огонь на шпаге, рыбак простёрт.

6

Коленом, бедром, заголённым плечом —
даёшь олимпийскую смену! —
само совершенство чеканит мячом,
удар тренирует о стену,

то шведкой закрутит, то щёчкой подаст...
Глаза опускает прохожий.
Бойтся, что выглядит как педераст
нормальный мертвец под рогожей.

* * *

1

Гори, зияй, забот не зная,
самодостаточная боль,
сердечная и головная.
Сквозная. Для контроля, что ль?

Сквозь несрастающихся тканей
неприкровенное очко
прошло немало мирозданий.
Чернила, что ли, предпочло?

2

Стихотворенье мальчуковое,
его фасон, и сам размер,
и этот воротник подковою —
кричат, что автор — пионер.

Печаль девчачья пионеркою
раз в раздевалке подошла
и отсосала всю энергию
за два крыла, за два крыла.

* * *

Не бойся ничего, ты Господом любим —
слова обращены к избраннику, но кто он?
Об этом без конца и спорят Бом и Бим
и третий их партнёр, по внешности не клоун.

Не думай о плохом, ты Господом ведом,
но кто избранник, кто? Совсем забыв о третьем,
кричит полцирка — Бим! кричит полцирка — Бом!
Но здесь решать не им, не этим глупым детям.

Река — облака

1

Ресница твоя поплывёт по реке,
и с волосом вьюн,
и кровь заиграет в пожухлом венке —
и станешь ты юн.

И станешь ты гол как сокол, как щегол,
как прутья и жердь,
как плотской любви откровенный глагол
идущих на смерть.

И станешь ты сух, как для детских ладош
кора старика,
и дважды в одну, как в рекламе, войдёшь —
и стерпит река.

2

Плывут облака, как всю жизнь напролёт,
но только быстрее,
борей всё быстрее их гонит вперёд
и гиперборей.

И мы не хотим никаких облаков
и жизни иной,
и нас угнетает *во веки веков*
своею длиной.

Мы знаем, что мы уже будем не мы,
по опыту лет,
по опыту света и опыту тьмы,
сменяющей свет.

За тою чертой, за небесной межой
пройдёт моя хворь,
да так, что любовь моя станет чужой.
Не надо, не спорь.

Наш долг толковать облака напрямик.
Не ложь и намёк —
борей загребной, хоть и так не на миг,
плотнее налёг.

* * *

Ударит крупной трелью реполов...

Там, на родине певчего робина
(«реполов» — перевёл Пастернак,
вот и я не старался особенно
и себя перевёл абы как)...

Там, на родине Китса, за столиком,
где, согласно преданию, Китс,
попивая амброзию с тоником,
столько сердца потратил на птиц...

У меня получилось не очень-то,
но и сам Пастернак не посмел
отличить реполова и кочета
от малиновок и филомел.

Степь

Открывались окошечки касс,
и вагонная лязгала цепь,
чёрный дизель, угрюмый Донбасс,
неужели донецкая степь?

С прибалтийским акцентом спою,
что туманы идут чередой,
как, судьбу проклиная свою,
через рощи литвин молодой.

Защищён зверобоем курган,
но не волк я по крови, а скиф,
и нехай меня бьёт по ногам,
а не в голову, как городских.

Под курганом, донецкая степь,
спит рабоче-крестьянская власть,
как и белогвардейская цепь.
И нехай они выспятся всласть.

Азиатское семя *дурман*
на степных огородах взошло,
встал, как вкопанный, чёрный туман,
а зелёный идёт хорошо.

«Ты давай на меня не фискаль, —
говорит безработная степь, —
отливающий пули москаль,
ты кончай вхолостую свистеть.

Ты бери мою лучшую дочь
и в приданое весь урожай
и на свадебном дизеле в ночь,
как хохол на тюках, уезжай».

* * *

Будь со мной до конца,
будь со мною до самого, крайнего.
И уже мертвеца —
всё равно не бросай меня.

Положи меня спать
под сосной зелёной стилизованной.
Прикажи закопать
в этой только тобой не целованной.

Я кричу — подожди,
я остался без роду, без имени.
Одного не клади,
одного никогда не клади меня.

* * *

ну при чём здесь завод винно-водочный
винно-водочный только предлог
это кровью и слизью чахоточной
русский жребий изгваздал порог
это русская женщина с тряпкою
необидное слово твердит
и на гвоздь с покосившейся шляпкою
осмотрительно коврик прибит

* * *

Дай Бог нам долгих лет и бодрости,
в согласии прожить до ста,
и на полях Московской области
дай Бог гранитного креста.

А не получится гранитного —
тогда простого. Да и то,
не дай нам Бог креста! Никто
тогда, дай Бог, не осквернит его.

* * *

Одиночества личная тема,
я закрыл бы тебя наконец,
но одна существует проблема
с отделеньем козлов от овец.

Одиночества вечная палка,
два конца у тебя — одному
тишина и рыбалка, а балка,
а петля с табуреткой кому?

* * *

Допрашивал юность, кричал, топотал,
давление оказывал я
и даже калёным железом пытал,
но юность молчала моя.

Но юность твердила легенду в бреду.
Когда ж уводили её,
она изловчилась слюной на ходу
попасть в порожденье своё.

* * *

вы имеете дело с другим человеком
переставшим казаться себе
отсидевшим уайльдом с безжизненным стеклом
и какой-то фигнёй на губе

почему-то всегда меблированы плохо
и несчастны судьбы номера
и большого художника держит за лоха
молодёжь молодёжь детвора

* * *

До радостногó утра иль утра
(здесь ударенье ставится двояко)
спокойно спи, родная конура, —
тебя прощает человек-собака.

Я поищу изъян в себе самом,
я недовольства вылижу причину
и дикий лай переложу в псалом,
как подобает сукиному сыну.

* * *

Так знай, я призрак во плоти,
я в клеточку тетрадь,
ты можешь сквозь меня пройти,
но берегись застрячь.

Там много душ ревьёт ревмя
и рвьётся из огня,
а тоже думали — брехня.
И шли через меня.

И знай, что я не душегуб,
но жатва и страда,
страданья перегонный куб
туда-сюда.

* * *

Норвежки и чешки. Коньки и такие
специальные тапочки для ностальгии.
Реальную чешку, живую норвежку
судьба послала мне после в насмешку,
поскольку они утолить не могли
желания левой и правой ноги.
Тут много от секса, но что тут от сердца?
Лишь татуировка у чешки, для перца, —
на заднице сердце пронзала стрела
и лучшего места найти не могла.

* * *

если прожил я в полусне
и пути мои занесло
и стихи мои в том числе
запутали на полусло
если улицы и дома
сговорившись с ума свести
самых склонных свели с ума
в том числе и мои стихи
если ты поправляя прядь
так и вспыхнешь читая их
будто это не просто блядь
а к невесте писал жених

* * *

Нескушного сада
нестрашным покажется штамп,
на штампы досада
растает от вспыхнувших ламп.
Кондуктор, кондуктор,
ещё я платить маловат,
ты вроде не доктор,
на что тебе белый халат?

Ты вроде апостол,
уважь, на коленях молю,
целуя компостер,
последнюю волю мою:

сыщи адресата
стихов моих — там, в глубине
Нескушного сада,
найди её, беженцу, мне.
Я выучил русский
за то, что он самый простой,
как стан её — узкий,
как зуб золотой — золотой.

Дантиста ошибкой,
нестрашной ошибкой, поверь,
туземной улыбкой,
на экспорт ушедшей теперь
(коронка на царство,
в кругу белоснежных подруг

алхимика астра,
садовника сладкий испуг),

улыбкой последней
Нескушного сада зажги
эпитет столетний
и солнце во рту сбереги.

* * *

Это тоже пройдёт, но сначала проймёт,
но сперва обожжёт до кости,
много времени это у нас не займёт
между первым-последним «прости».

Это будет играть после нас, не простив,
но забыв и ногой растерев,
принимая придуманный нами мотив
за напев, погребальный напев.

* * *

А. Ш.

1

Где ты теперь и кто целует пальцы?
и как? и где?
Не удивлюсь, коль это впрямь малайцы.
Они везде.

А ты везде, где это только можно,
не зная, что
такие пальцы целовать несложно.
Так где и кто?

2

Государыня, просто сударыня,
просто дура, набитая всем,
начиная с теорий от Дарвина —
до идей посетить Вифлеем.

Просто женщина, с ветром повенчана,
и законно гуляет жених
в голове и поёт, деревенщина,
ей о ценностях чисто иных.

* * *

Науки школьные безбожные,
уроки физики и химии
всем сердцем отвергал, всей кожей
и этим искупил грехи мои.

Да, это я лишил сокровища
за сценой актового зала
девятиклассницу за то ещё,
что в пятом мне не подсказала.

Но нет любви без этой малости,
без обоюдной в общем муки,
как нет религии без жалости
и без жестокости науки.

Считалочка

на исходе двадцатого века
вижу зверя в мужчине любом
вижу в женщине нечеловека
словно босха листаю альбом

беспощадную оптику психа
эти глазоньки полные льда
ты боялась примерить трусища
но отныне ты тоже больна

* * *

Небо и поле, поле и небо.
Редко когда озерцо
или полоска несжатого хлеба
и ветерка озорство.

Поле, которого плуг не касался.
Конь не валялся гнедой.
Небо, которого я опасался
и прикрывался тобой.

Институтка

По классу езды и осанки
ты кончила Смольный,
сокрытый от смертных с Лубянки,
надомный, подпольный.

Какие-то, чую, мамзели
тебя обучали
искусству сходить с карусели
без тени печали.

* * *

Быть на болоте куликом,
нормальным Лотом,
быть поглощённым целиком
родным болотом.

Повсюду гомики, а Лот
живёт с женою;
спасает фауну болот,
подобно Ною.

Сей мир блатной восстал из блат
и прочих топей,
он отпечатан через зад
с пиратских копий,

но не хулит — хвалит кулик
и этот оттиск.
Ответ Сусанина велик,
что рай болотист.

* * *

Ну-ка взойди, пионерская зорька,
старый любовник зовёт.
И хорошенько меня опозорь-ка
за пионерский залёт.

Выпили красного граммов по триста —
и развезло, как котят.
Но обрывается речь методиста.
Что там за птицы летят?

Плыл, как во сне, над непьющей дружиной
вдаль журавлиный ли клин,
плыл, как понятие «сон», растяжимый,
стан лебединый ли, блин...

Птицы летели, как весть неотсюда
и не о красном вине.
И методист Малофеев, иуда,
бога почуял во мне.

Это

1

это не гром прогремевший
это мой рот изbleвавший
всё что он пивший и евший
и целовавший

это не дикий и леший
это культурный но павший
до дому не дотерпевший
всё протрепавший

2

это всё благородная боль
но животная
как для рыбы земная юдоль
только водная
это всё настоящий обман
но искусственный
как для устрицы бурный роман
только с устрицей

* * *

Я б воспел укладчицы волосок,
волос упаковщицы № 3,
что в коробке к сладкому так присох,
что не сразу весь его оторви.

Шоколад прилип к нему, мармелад.
Брошу его в пепельницу, сожгу.
Отправляйся, грязный очёсок, в ад,
там ищи хозяйки своей башку.

* * *

Сила есть, а ума мне не нужно.
Биржевик промышляет умом.
А моя заключается служба
в сумасбродстве, напротив, самом.

Высоко это раньше ценилось,
но отмстил неразумным Гайдар.
А теперь всё опять изменилось
и пора отвечать за хазар.

Осень

Пора золотая, я тоже
бываю порой золотым.
И каждого слова дороже
идущее следом за ним.

Строка на глазах дорожает,
как солнечный луч в сентябре,
и, кажется, воображает,
что купит пощаду себе.

* * *

Учись естественности фразы
у леса русского, братан,
пока тиран куёт указы.
Храни тебя твой Мандельштам.

Валы ревучи, грозны тучи,
и люди тоже таковы.
Но нет во всей вселенной круче,
чем царскосельские, братвы.

* * *

медикаменты комедианты
белый товар
клейкие ленты атласные банты
чёрный отвар

скачет мазурка или мензурка
пляшет в руке
дни пролетели так быстро так юрко
словно в зверьке

Вечность

Вечность вьётся виноградом
между стен,
где-то там, но где-то рядом
между тем.

Вроде западное что-то,
не про нас,
не лоза у нас — болота,
непролаз.

Но уже из наших кто-то
там пролез,
будто на обои фото
энский лес.

* * *

а за всем за этим стоит работа
до седьмого чуть не сказал колена
и торчит из-под пятницы не суббота
а само воскресенье мужского тлена

подо всем под этим течёт угрюмо
и струится чуть не сказал кровища
а на самом деле бежит без шума
за обшивку трюма вода водичка

Новому веку

Нетленное что-то, что больше,
воспой, соловейка,
ты пел о скончанье, воспой же
рождение века.

И пусть это будет нетленка,
а не однодневка,
и пусть это будет не клетка
и даже не ветка.

Поэту

Ты царь: живи один.

Словарь, где слово от словца
другим отделено,
но одиночество творца
сливается в одно...

Творец наш страшно одинок,
о нём подумай, царь,
когда вотще звонит звонок
и не подходит тварь.

* * *

Чёрное небо стоит над Москвой.
Тянется дым из трубы.
Мне ли, как фабрике полуживой,
плату просить за труды?

Сам себе жертвенник, сам себе жрец,
перлами речи родной
замороженный ныряльщик и жнец
плевел, посеянных мной, —

я воскурю, воскурю фимиам,
я принесу-вознесу
жертву-хвалу, как валам, временам
в море, как соснам в лесу.

Залпы утиных и прочих охот
не повредят соловью.
Сам себе поп, сумасшедший приход
времени благословлю...

Это из детства прилив дурноты,
дяденек пьяных галдёж,
тётенек глупых расспросы — кем ты
станешь, когда подрастёшь?

Дымом обратным из неба Москвы,
снегом на Крымском мосту,
влажным клубком табака и травы
стану, когда подрасту.

За ухом зверя из моря треплю,
зверь мой, кровиночка, век;
мнимою близостью хвастать люблю,
маленький я человек.

Дымом до ветхозаветных ноздрей,
новозаветных ушей
словом дойти, заостриться острее
смерти при жизни умей.

(6 января 1997)

Евангелие

1

...свидетельствует о Мне Отец,
пославший Меня.

Иоан. 8

Кто рос и серебро на ус
наматывал в пути,
тот золота приятный груз
губою ощути.

Попробуй золото на вкус,
кто в тридцать смог найти,
как и Господь наш Иисус,
пославшего почти.

2

Ангел же сказал ему: не бойся...

Лук. 1

Иосиф Бродский умер.
стихи на Рождество
теперь слагает Кушнер,
как может, за него.

На третью годовщину
сложу и я стихи.
Младенца и мужчину
не бойтесь, пастухи.

(Январь 1999)

* * *

Каждое утро Господне
кто-то стирает с доски,
кто-то до блеска сегодня
мне прочищает мозги,
чтоб не осталось пылинки
там от вчерашнего дня,
буковки или картинки...
Кто-то ревнует меня.

Жизнь

Теснее, и проще, и строже
мужчины общаются с ней.
Как с женщиной, Господи Боже!
А я не желаю тесней.

Мне кажется, тесно и строго
и так уже в доме моём,
как будто под Господа Бога
часть зданья сдаётся внаём.

И жизнь для меня — прихожанка,
Мария, что в прошлом грешна,
а ныне — твердыня, жестянка,
гражданка, чужая жена.

* * *

Ты тёмная личность.
Мне нравишься ты
за академичность
своей темноты.

В тебе ни просвета.
Лишь ровный огонь
обратного цвета.
Лишь уголь нагой.

И твой заполярный
я вижу кошмар
как непопулярный,
но истинный дар.

* * *

Не меняется от перемены мест,
но не сумма, нет,
а сума и крест, необъятный крест,
перемётный свет.
Ненагляден день, безоружна ночь,
а сума пуста,
и с крестом не может никто помочь,
окромя Христа.

* * *

Заклинаю всё громче,
не стесняюсь при всех,
отпусти меня, Отче,
ибо я — это грех.
Различаю всё чётче
серебрящийся смех,
не смехи меня, Отче,
не вводи меня в грех.

* * *

Мальчик слабохарактерный,
молодой человек
с незажившей царапиной,
я прикладывал снег,

падал снег, я прикладывал,
и покорством своим
я покойников радовал,
досаждая живым.

* * *

Всё сложнее, а эхо всё *проще*,
проще, будто бы сойка поёт,
отвечает, выводит из роши,
это эхо, а эхо не врёт.

Что нам жизни и смерти чужие?
Не пора ли глаза утереть.
Что — Россия? Мы сами большие.
Нам самим предстоит умереть.

23. 3. 99

Двадцать третьего третьего
девяносто девятого.
Не загадывай впредь его,
ибо беден загад его.
Ибо царствен закат его,
несмотря на столетье
и коллапс тридевятого,
как желание третье.

Стихотворения,
не вошедшие в сборники

* * *

Дай поцелую, дай руки дотронусь
через века.
Невероятно важная подробность
твоя рука.

У выпускницы ямочки играют,
и желваки
по скулам, как лады, перебирают
выпускники.

Ты смелая была и не ломака.
Через века
мне ножницы, и камень, и бумага
твоя рука.

Народная драма

К Ивану-да-Марье я третьим примкну
последней любовью заняться.
Безносая смотрит, прилипнув к окну,
но не на чем ей удержаться.

С Иваном-да-Марьей, а больше ни с кем.
Утихни, хиппарь-колокольчик.
И глух, надеясь любовью, и нем,
Иван отступить не захочет.

И Марья к иконам глаза отведёт,
но третьего чревом признает,
простые слова для Ивана найдёт,
и смерти дурак уступает.

Любви пересол проберёт по спине:
не ветром склонённая Марья —
докуда коса дорастает ко мне...
Настенный сорву календарь я —

всё кончено!.. Сельский захлопает клуб
и фабрики цех трикотажный.
Вот так же и мы на убой и на сруб, —
С любовью подумает каждый.

Вина

С каждой станции вина мне кивала
и цветы, как на могилы, бросала,
назидательней иного кимвала
пятаками, как из гроба, бряцала.

С каждой станции оранжевой ветки
самодвижущегося лабиринта,
самоцветы и гранит пятилетки
разменявшего на кафель обидно.

Так проходит колебанье состава,
Когановича хозяйственный подвиг,
Ногина святого сводника слава,
тряхомундия транзита проходит.

Чем ты хочешь напугать меня, дура?
Ты — Вина и занимала за Болью.
Провалившаяся кандидатура
эскалатора, что движим любовью.

Я сморгну легко видение морга,
уступлю моей принцессе ступеньку,
ждать велю на стороне Военторга
и продам, как в старину, за копейку.

(1996)

* * *

на окраине на окраине
где в овраге цвела сирень
и у девочек как при барине
трепетала в аллее тень

и у мальчиков как при Бунине
вышиваньем пятнала грудь
тень берёзы седой игуменьи
с накарябанным не забудь

пробежавшее между пальчиков
а до этого по усам
страстных девочек рослых мальчиков
помнит древний Универсам

* * *

По струнам всеми пальцами мутузя,
пел песни двор и посылал гонцов,
и каждого второго звали Кузя:
Кузьмин, Кузьменко, чаще Кузнецов.

Гонец вернётся из Универсама,
агдам рубинов и портвейн пунцов,
что это не Олеся, а Оксана,
навек запомнит младший Кузнецов.

Боец вернётся из Афганистана,
все будет хорошо в конце концов,
все будет совершенно как всегда, но
с той разницей, что это — Кузнецов.

Кувшинка

Лодка качалась, за нею кувшинка
в такт на волне.
Не мимикрии напрасной ужимка
нравилась мне.

Нравилось мне, что ей тоже негоже
прясть ничего.
Что передрать отражение дрожи
исключено.

Нервная гребля от страшного стебля
без головы.
Нравилась мысль провалиться немедля
в тартарары.

* * *

Так фокусник захочет объяснить,
но, со словами сладить не умея,
повествования потеряет нить,
и пропадёт у фокуса идея.
Как опустился иллюзионист!
Он так давно с животными, что лает —
не говорит, и на руку нечист,
и голубей, того, употребляет.

Икона

Будем ждать, будем век коротать,
будем Саймона слушать Гарфанкела,
будем Библию тоже читать:
ты за ангела, я за архангела.
Я пойду за тебя помолюсь,
путь из кухни проделаю в комнату,
не боюсь — и теперь признаюсь:
я ведь выменял эту икону-то.
В доме не было нашем икон,
но меня повела Богородица,
привела пионера в притон,
где контрасты по-скорому сходятся.
Там Она мне смотрела сквозь мглу —
и тогда я вино своё выставил;
дома гордо повесил в углу,
даже из пионеров не выступил.

* * *

Включу-ка я лёгкую музыку, вот что.
Я тоже ведь лёгкая вещь.
Я тоже ведь создан как будто нарочно,
чтоб публику-дуру развлечь.
И я повторяюсь, как музыка эта
по просьбам рабочих людей,
а после распада, суверенитета —
звучу по заявкам блядей.

* * *

На фотографиях недопроявленных,
вложенных между страниц,
меж недописанных и неотправленных —
наполовину вернись.
Встань, улыбаясь, змея, перед кодаком,
чиз или *шит* прошипи,
чтоб проявившим тебя второгодникам
вдруг захотелось пи-пи.

* * *

ты только влюблённая щепка
в разбившийся борт корабля
настолько влюблённая крепко
насколько в канат конопля
нас вместе мотает по волнам
ведь я прилепился к тебе
в библейском значении полном
распятьем к погибшей стене

Однокласснице

Я не помню имени твоего.
И кому интересно теперь оно?
Но твою фамилию через «о»
там, где надо «а», не забыл. Смешно.
Ты была Еленой скорей всего.
И теперь ты знаешь, что жизнь — оно,
то, что тоже пишется через «о».
Это очень пошло и не смешно.

* * *

Так всегда происходит на свете:
мы влюблённые дети ещё,
но уже разлучённые дети.
Это жизнь. С чем рифмуют её?
Мы ещё в этом деле ягнята,
а по жизни и вовсе щенки,
но уже всё понятно. Не надо,
не реви, но и баб не щади.

* * *

Я лягу спать, мне будет сниться
твоя отдельно голова,
отдельно таз и поясница.
Расчленена, а всё жива!
При коммунистах в балагане
пилили женщин по частям.
И ту, которая с ногами,
отдельно помню по ногтям.

Из Бодлера

Ну какая вам разница, как я живу?
Ну, допустим, я сплю,
а когда просыпаюсь, то сплю наяву
и курю коноплю.
Я из тайны растительной сонным шмелём
вдохновеенья сосу.
А ещё я в пчелу трудовую влюблён,
деловую осу.

* * *

Заставят вздрогнуть шорохи ночные.
И храброго заставят свет зажечь,
и стены оглядеть, и не впервые
успеть, засечь. Что именно засечь?
Я человек скорее малодушный
и в темноте от шорохов дрожу..
Так мистики не любит сокол скучный
и ужасы не нравятся ужу.

Романс

Презрительным рассмейся смехом
и надо мной, и надо мной,
как над каким-нибудь чучмеком;
езжай домой, скажи, домой.
Во мне священного таланта
не признавай, не признавай,
не убивай меня — и ладно;
не зарывай, не зарывай.

* * *

За наблюденьем облаков,
за созерцаньем кучевых,
я вспоминаю чуваков
и соответственно чувих.
Я вспоминаю их отцов
и матерей, но почему?
Ну почему, в конце концов,
я – сторож брату моему?

Изыскание

По брусчатке, как сказано у Михалкова
и украдено у Маршака,
ну а тот это слово у Бёрнса какого
напрокат одолжил на пока...
Я нашёл подтвержденье догадки у Даля:
нет брусчатки в его словаре.
И сгубившая Бёрнса позёмка седая
по-живому метёт в ноябре.

Тайна

Бежать озабоченным кроликом
из книжки любимой твоей;
лежать молодым алкоголиком,
как в книжке на сей раз моей.
Английскими были писатели,
им было понять нелегко,
что русскими будут читатели,
а втайне — насрать глубоко.

* * *

То, что ворота в дерьме
(дѣгтя нема),
стало совсем незаме-
тно, как зима.
Всем позабылось в селе,
как на позор
голой тащил по земле
жучку трезор.

Лиса и Колобок. Памятник

Вандалы надругались над лисицей,
железный нос скрутили в рог и вбок.
И как ни посмотри со всех позиций —
опять свободен круглый полубог.
Свободен гений вольного побега
и русского ухода от родных
до полного уничтоженья эго
в петлянии тропинок лесных.

* * *

Не играй ты, военный оркестр,
медью воздуха не накаляй.
Пусть Георгий таскает свой крест,
да поможет ему Николай.
То он крест из бесчинства пропъёт,
то он дедовский орден проест..
Это я не про русский народ.
Всё в порядке, военный оркестр.

* * *

ещё моя молитва
не произнесена
ещё на грунт палитра
не перенесена
она на самом деле
не так уж и бедна
но краски оскудели
и вся земля видна

* * *

Здесь каждый с азбукою Морзе
хоть понаслышке, но знаком.
Она соперничает в пользе
с обыкновенным языком.
Куда поэзии в морозной
стране до азбуки морской?
Где что ни звук — то вопль бесслёзный
от океана до Тверской.

Одной семье

В Новодевичьем монастыре,
где надгробия витиеваты,
где лежат генералы тире
лейтенанты,
там, где ищет могилу Хруща
экскурсантов колонна,
вы, давно ничего не ища,
почиваете скромно.
Ваши лавры достались плющу,
деревенской крапиве.
Вы простили, а я не прощу
и в могиле.
Я сведу их с ума, судия,
экскурсанта, туриста.
А Хрущёв будет думать, что я
Монте-Кристо.

* * *

памяти А. В.

Когда роковая обида
за горло актёра берёт,
он больше не делает вида,
что только на сцене умрёт.

Обида из мелких, обидка.
Но надо же как-то с доски
фигуру убрать недобитка,
добить, говоря по-мужски.

* * *

Так воин хочет отдохнуть, а ворон хочет есть
и принимает долгий сон он не за то, что есть.
Он принимает сон за смерть по общей слепоте.
Все слепнут. Вороны и те, да, вороны и те.
Так от начала всех времён до самого конца —
один уснул и в нём другой провидит мертвеца,
как будто ворон — человек, да, волк и чёрный вран.
А ты, делящий с ним ночлег, ты как бы ресторан...
А мне велели передать, что воин будет спать,
и просыпаться, и впадать в беспамятство опять.

Эдем

я не обижен не знаю как вы
я не обманут ничем
в первую очередь видом москвы
с ленинских гор на эдем
всё любовался бы с ленинских гор
всё бы прихлёбывал я
в знак уважения тёплый кагор
к церкви крестившей меня
слышу у павла звонят и петра
даже сквозь снобский прищур
вижу на тополь склонилась ветла
даже уже чересчур
здесь родилась моя мама затем
чтобы влюбиться в отца
чтобы нерусскому слову эдем
здесь обрусеть до конца
чтобы дитя их могло говорить
это дитя это я
чтобы москвы не могли покорить
чёрные наши друзья

* * *

Ежедневно, почти ежечасно
упиваюсь я жизнью земной.
Это так для здоровья опасно...
Быть тебе не советую мной.
В синем небе летают драконы,
а внутри расцветают цветы,
и драконы с цветами влекомы
не туда, куда думаешь ты.
Упоенье, потом привыканье
и зависимость от пустяков:
от китайской завешанных тканью
облаков, от тайваньских стихов...

Пасха

Гуляй, душа, на Пасху где придётся,
где день тебя застанет, осиян
благою вестью, дескать, всё вернётся
для всех, грешно смеяться, россиян.
Так вышло, что не в шумной дискотеке
тусуется на Пасху русский дух,
а в том элитном клубе, где калеки
предпочитают проводить досуг.

* * *

пусть приходят кто приходит
пусть вокруг меня встают
это чудо происходит
что уже не осмеют
пусть в пещере из бетона
исполняется обет
и склоняется мадонна
над младенцем средних лет

* * *

Поднимется безжалостная ртуть,
забьётся в тесном градуснике жар.
И градусов тех некому стряхнуть.
На месте ртути я бы продолжал.
Стеклянный купол — это не предел.
Больной бессилён, сковано плечо.
На месте ртути я б не охладел,
а стал ковать, покуда горячо.

* * *

Любой из полевых цветов —
не только василёк —
любой предать тебя готов
за жизнь и кошелёк.
Травинка, жёлудь, и листок,
и ягода, и гриб
открыли б Западу Восток,
когда б они могли б.

* * *

однообразный ход
часов и мерный бой
однообразный лёт
минут и бог с тобой
и уходи совсем
я время тороплю
ведь я его не ем
и больше с ним не сплю

* * *

Начинается проза, но жизнь побеждает её,
и поэзия снова, без шапки, без пуговиц двух,
прямо через ограду, чугунное через литъё,
нет, не перелезает, но перелетает, как дух.
Улыбается чуть снисходительно мне Аполлон,
это он, это жизнь и поэзия, рваный рукав,
мой кумир, как сказали бы раньше, и мой эталон,
как сказали бы позже, а ныне не скажут никак.

* * *

Уходит дитя за слепцами
Небесного Града искать,
таскаться в пыли месяцами,
годами и палки таскать.
Не видят они понарошку,
но только сельцо на пути —
слепцы окликают Алёшку,
чтоб подал им палку войти.
А время до Ерусалима
в лаптях-сороходах бежит
воистину неумолимо,
как разом прозревший мужик.

* * *

Когда кричит ночная электричка,
я не могу волнения сдержать,
и я кричу: умолкни, истеричка,
и умоляю дальше продолжать.
Никто из наших, русских и *почти что*,
не может не почувствовать укол,
когда кричит ночная электричка,
быть мужиком, не спрашивать по ком.

* * *

Напрягая усталые фибры,
я спрошу министерство путей:
это правда, что все они гиблы,
как мы только узнали теперь?
Почему нам опять не сказали,
что не ходят туда поезда,
что стоят поезда на вокзале,
вообще не идут никуда.
Отъезжающих и провожатых
застилают дыханья клубы,
вырываясь из тёплых, разжатых,
не смягчивших гранитной трубы.

На железной дороге

Вот боль моя. Вот станция простая.
Всё у неё написано на лбу.
Что скажет имя, мимо пролетая?
Что имя не влияет на судьбу.
Другое имя при царе носила,
сменила паспорт при большевиках,
их тут когда-то много колесило.
Теперь они никто и звать никак.
А станция стоит. И тёмной ночью
под фонарем горит её чело.
И видит путешественник воочью,
что даже имя — это ничего.

Ценник

От вещи останется ценник.
Не верится — десять рублей.
Останется Ленин от денег,
на лоб ему ценник приклей.
Не плюй на возложенный веник,
камней не бросай в мавзолей,
как провинциал шизофреник.
Войди, поклонись и приклей.

Облегчение

Загорится огонь, загорится
электрический в комнате свет,
где последняя императрица
зашивает брильянты в корсет.
Где-то фрейлин ведут адъютанты,
избогась, в ледяную кровать.
Но дороже всего — бриллианты.
Это можно теперь не скрывать.

Даль

На спиритическом сеансе
крутилась блюдечка эмаль,
и отвечал в манере басни
Олег нам почему-то Даль.
Был медиум с Кубани родом
и уверял, что лучше всех
загробным сурдопереводом
владеет именно *Олег*.

* * *

1

бежит по стене и чуть-чуть над стеной
на фоне дворца минарета
в чалме похититель и туфле одной
с носком разогнувшимся где-то
полны шаровары чалма набекрень
сбежит умудрённый аллахом
и стражников свору обманет олень
с глупцом обменявшись халатом

2

синдбад-мореход раскуривший кальян
утратил всю смуглость лица
и сделался страшно багров и румян
как роза в саду мертвеца
раскурен кальян и отложен коран
и спутников прочь отнесло
прибило к подушкам диковинных стран
шайтана морского весло

* * *

Жизнь прошла, понимаешь, Марина.
Мне не стыдно такое сказать.
Ну не вся, ну почти половина.
Чем докажешь? А чем доказать,

что ли возле молебного дома
поцелуем, проблемой рубля,
незавидною должностью «пома»
режиссёра, снимавшего для

пионерского возраста; что ли
башней Шуховской — эрой ТВ,
специальной школой, о школе
по-французски, да память maivai,

да подумаешь: «лучше и чище» —
и впервые окажешься прав.
Закатает обратно губищи
драгоценного времени сплав.

Увлажнённые выкатил зенки
проницающий рыбу на дне,
было дело — под юбкой коленки,
постороннего наедине, —

непроглядно. Скорее из кожи
истончившейся вылезешь вон.
Жизнь прошла без обмана, чего же
поднимать мелодический звон —

лбом о сторону прочного сплава,
доказательства скрыты внутри...
Говоришь, половина? — И слава
Богу. Вся, говоришь? Говори.

* * *

Я только заполняю паузу.
Не оборачивай лица,
не прекращай внезапно трапезу
для ресторанного певца.
Кого тебе напомнил внешне я —
от сотрапезника таи,
не то верну порядки прежние
и годы вешние твои.

* * *

Кольца твои и серёжки.
Пудра и лак для ногтей.
Твёрдые ножки и рожки
для Мнемзины моей.
Долго держалась помада.
Дольше, чем собственно рот,
дольше, чем собственно надо
тем, кто даёт и берёт.

* * *

По небесам гуляли мы с тобою,
как будто бы обыкновенно шли
мы улицей банальной мостовою,
просёлочной дорогою земли.
И что есть это небо над Москвою,
когда в нём те же крутятся рубли
и доллары осеннею листвою,
а мы и в небе, бэби, на мели?

* * *

пили кофе пили сухое вино
ели торт
это было очень и очень давно
до реформ
пили кофе слушали магнитофон
до сих пор
те ли это плёнки сверкнут из крон
как топор

* * *

Уж истекла его гарантия,
но всё колеблется листок.
Уже его честная братия
вся полегла наискосок.
Уж ветру пишут ветви голые
в петиции берестяной:
заколебала аллегория
уже душевной простотой.

Орошение

Слушать дождь, даже большее —
стать дождём самому.
Это как многобожие
испытать одному.
Сам себя по-над кровлею
оросил серафим,
увлечённый торговлею
лишь собою самим.

* * *

не верят в кукловода куклы
не признают его за власть
и посылают на три буквы
того кто им разинул пасть
а в зале зрители смеются
да так что кажется вот-вот
все их верёвочки совяются
в канат или канал сольются
в один надорванный живот

* * *

Будет дождь идти, стекать с карнизов
и воспоминанья навевать.

Я — как дождь, я весь — железу вызов,
а пройду — ты будешь вспоминать.

Будет дождь стучать о мостовую,
из камней слёзы выбивать.

Я — как дождь, я весь — не существую,
а тебе даю существовать.

Послесловие к книге
«Окно в январе»

Частный голос из будущего

К моменту выхода этой книги её автору Денису Новикову 27 лет и на дворе 1995 год. Другими словами, её автор принадлежит к тому младому и незнакомому племени, чей могучий поздний возраст придётся на начало следующего тысячелетия. Это обстоятельство, само по себе не накладывающее, разумеется, на племя это никаких дополнительных обязательств, заставляет тем не менее приглядываться к нему несколько внимательнее, нежели к его предшественникам.

Человек — существо ретроспективное, и любая форма письменности, включая стихосложение, есть так или иначе тому под-тверждение. Однако от поколения, стоящего на пороге нового тысячелетия, не говоря — на развалинах породившего всех нас миропорядка, естественно ожидать если не визионерства и попыток заглянуть в будущее, то во всяком случае качественно нового мироощущения.

Говоря жёстко, современная русская поэзия читателя своего этим не балует. Обобщения — вещь опасная и, применительно к явлению столь перенаселённому, как наша литература конца XX века, — тем более. Тем не менее подозрение, что преобладающей её тональностью является тональность трагико-нигилистическая, становится все более навязчивым. Параметры эти читателю хорошо знакомы и свидетельствуют не столько даже о загнипнотизированности сознания национальным опытом, сколько о стилистической инерции, во власти которой находится современное перо.

Выходящее из-под него сегодня, подобно закону, пытающемуся обрести обратную силу, производит настойчивое впечатление написанного в некоем позавчера, оперируя реалиями и поэтикой, восходящими к шестидесятым или семидесятым годам.

Это, разумеется, объясняется тоской по твёрдой почве и общей системе координат, к которой наша поэзия за семьдесят лет сильно привыкла. Сталкиваясь с раздробленностью современного ей опыта и сознания с беспрецедентностью и непредсказуемостью обозримого будущего, она, естественно, отворачивается в знакомую ей сторону. Другими словами, она демонстрирует свою глубокую консервативность, особенно откровенно проявляющуюся именно в ёрнической тенденции, возводимой, разумеется, к скоморошеству, на деле же всегда являющейся голосом интеллектуальной неполноценности, бегством от неизвестного. Явление это — повальное.

Стихи Дениса Новикова привлекают прежде всего полной автономностью их дикции. Лексический их состав хронологических сомнений не вызывает, сообщая об авторе куда больше, чем метрическое свидетельство. Биография поэта — не в обстоятельствах места и времени, тем более — не в предисловии, но в качестве его слуха, который первый определяет поэтом этим производимое. Выбор слов всегда выбор судьбы, а не наоборот, ибо определяет сознание — читающего, но ещё в большей мере пишущего; сознание, в свою очередь, определяет бытие.

В случае Новикова — и в случае его поколения вообще — словарный состав определяет ещё и небытие. Новиков — чистый лирик, и стихи его совершенно безадресны. Он говорит не «от имени», и трудно представить аудиторию, ему аплодирующую: то, к чему поэзия наша опять-таки сильно привыкла за минувшие десятилетия. И безадресность эта, в свою очередь, избавляет читателя от хронологических сомнений. Голос Новикова — голос человека в раздробленном, атомизированном обществе, где поэт более не антипод государя или власти вообще и поэтому лишён гарантии быть услышанным, не говоря — пьедестала. В этом смысле голос Новикова — голос из будущего, как, впрочем, и из прошлого, ибо он в высшей степени голос частный.

Поэзии нашей, судя по всему, придётся к этой тональности привыкнуть, и «Окно в январе» для этого — неплохое начало. Если вычленишь из этого сборника его содержание, — занятие применительно к поэзии всегда пагубное, — можно было бы сказать, что эта книга — о неприкаянности: психологической и буквальной.

Заслуга автора, однако, прежде всего в том, что из неприкаянности этой он события не делает, воспринимая её скорее как экзистенциальную норму. В способности к заключению заведомо трагического материала в скобки как самоочевидного и комментария не заслуживающего — большое достоинство, человеческое и поэтическое, Дениса Новикова.

За скобками звучит речь человека не слишком весёлого, но свободного. Свободного прежде всего от надежды на успех и от ощущения значительности своей роли поэта. «Окно в январе» — разговор с самим собой; а говоря с собой, человек не повышает голоса и не кривляется. Говоря с собой, человек сам себя слышит довольно отчётливо и потому принуждён говорить правду. Поэтому если в стихах Новикова слышен упрёк, то это упрек самому себе, а не миропорядку и во всяком случае — не обществу. Уже в этом одном — разительная самостоятельность данного поэта, чьи отношения с обществом сводятся, в лучшем случае, к формуле «Нет так нет».

Новиков, безусловно, не новатор — особенно в бульварном понимании этого термина, но он и не архаист — даже в тыняновском. Средства его — средства нормативной лексики русской поэтической речи, как они сложились у нас за 250 лет существования нашей изящной словесности. Они его вполне устраивают, и владеет он ими в совершенстве, уснащая свою речь изрядной долей словаря своей эпохи. Это может вызвать нарекания пуристов, упреки в засорении языка, рисовке и т. п. На деле же лексический материал, употребляемый Новиковым, есть современный эквивалент фольклора, и происходящее в его стихах есть по существу процесс освоения вышеупомянутых средств нашей изящной словесностью, процесс овладения новым языковым материалом.

Процесс этот — органический и неизбежный, и Новиков, а с ним и всё современное ему неизвестное племя — процесса этого только современная часть. За этим процессом стоит логика эволюции языка, и заслуга отдельного поэта тут невелика. Разумеется, сознание нынешней публики сильно засорено терминологией авангарда. Но авангард на сегодняшний день есть по существу термин рыночный, ни метафизической, ни семантической нагрузки ныне не несущий. Говоря грубо, концепция авангарда приемлема в на-

чале или в середине столетия, но никак не в его конце; тем более — в конце тысячелетия.

Авангард — по сравнению с чем? Сегодня это не более чем вывеска лавочника, стремящегося привлечь покупателя, и на этот лавровый лист Новиков, думается, не претендует. На что «Окно в январе» и его автор претендовать имеют полное право — это на роль инструмента родной речи.

Инструмент этот — твёрдый, режущий. Не слух и не правду-матку, но ту материю, из которой соткано человеческое существование: режущий время. От стихов Новикова возникает ощущение пера, движущегося с ускорением души, преодолевающей тяготение эпохи и биографии: души, уступающей тяготенью вовне. Главное достоинство «Окна в январе» именно в свидетельстве этого ускорения, этого вектора. Лучшее, что читатель может сделать с этой книгой, это именно прочесть её от начала до конца.

Сделав это, он обретёт современника, чье присутствие делает настоящее более выносимым и будущее — приемлемым. Точнее: делает их более преодолимыми.

Взгляд, брошенный в «Окно в январе» Денисом Новиковым, — взгляд, брошенный вовне. Увиденное им увидено невооружённым глазом, разрешающая способность которого, тем не менее, обладает большим сходством с телескопом, нежели с инструментом, наблюдающим бесконечно малое. Взгляд этот — твёрдый, пристальный; но время требует именно этой оптики, не будучи зеркалом.

Иосиф Бродский
январь 1995

От составителя

К моменту выхода этой книги её автору Денису Новикову навечно 37 лет и на дворе 2007 год.

Содержание

Условные знаки (1992)

«Москва бодала местом Лобным...»	4
«ещё душе не в кайф на дембель...»	5
«Задумаешься вдруг: какая жуть...»	6
«Дверь откроешь: тепло из гостиной на кухню течёт...»	7
Чукоккала.....	8
Ностальгическое	
1. 8-й класс	9
2. 10-й класс	9
«Взгляни на прекрасную особь...»	10
«Малый мира сего, я хочу быть большим...»	11
«Сердце бьёт в эрогенную зону...»	12
«Квартиру прокурили в дым...»	13
«Мы заснём и проснёмся – друзьями...»	14
«Давай молчать с тобой на равных...»	15
«Я не знаю стихов о любви...»	16
Посвящения	
1. «Город, город на финкском заливе...»	17
2. «Здоровья осталось на несколько тысяч затяжек...»	17
«На фоне Афонского монастыря...»	18
«Друг другу не ровня, мы, видимо...»	20
«Месяц июль, скажи, месяц июль...»	21
Стансы ко времени	22
«Рука судьбы, рука Москвы...»	23
«Было деревом, стало стволом водокачки...»	24
Стансы ко времени № 2.....	25
«Блажен, кто, доверяясь связи...»	26
«Не путём – так бульваром Страстным...»	27
Накануне	28
Девять дней	29
Прогноз погоды.....	30
«Вдоль зелёного забора...»	31
«Да, я знаю: в итоге останутся нищие духом...»	33
«Юго-западный ветер истошно завыл на Луну...»	34

«Ты, увлѣкшийся сызмальства чтеньем...»	35
«Где я вычитал это призванье...»	36
«Жаль, обморожены корни волос...»	37
«Его хоронили всего...»	38
«Тоскуя о родных местах...»	39
«В ожидании друга...»	41
«Слов на строчку и денег на тачку...»	42
«Сегодня играем в четыре губы...»	43
Пришелец	44
«Минул год от рожденья таковский...»	45
«Продолжается долгая повесть...»	46
«Сырой, как арбузная корка...»	47
«Эти яблоки – белый налив...»	48
Пэтэуэзник	49
«В городе негде нам кофе попить...»	50
«О вы, идущие по трое...»	51
«Он перешѐл на Кольцевую линию...»	52
«Там сочиняются стихи...»	53

Окно в январе (1995)

«Вот лежит человек, одинок...»	55
«Мы не вселенского, мы ничего, областного...»	56
Акын	57
«И тогда я скажу тем, кто мне наливали...»	58
«Часто пишется бог, а читается правильно – Бох...»	59
«Есть иной, прекрасный мир...»	60
Цыганское лето	61
«Ну хоть ты подтверди – это было...»	63
«Как подобие Божье подобию Божью...»	64

Караоке (1997)

«Бумага терпела, велела и нам...»	66
«Одесную одну я любовь посажу...»	67
Школьник	68
«Куда ты, куда ты... Ребѣнка в коляске везут...»	70
«Стучит мотылѣк, стучит мотылѣк...»	71
«Разгуляется плотник, развяжет рыбак...»	72
Стихотворения к Эмили Мортимер	
1. «Словно пятна на белой рубаше...»	73
2. «Усыпала платформу лузгой...»	74

3. «Говори, не тушуйся, о главном...»	75
4. «“Интурист”, телеграф, жилой...»	76
5. «Через сиваш моей памяти, через...»	76
Отъезд	78
«Сей достоверный признак жизни дрожь...»	79
Январские стихи	
1. «Видишь, наша Родина в снегу...»	80
2. «И в минус тридцать, от конфорок...»	80
3. «Рождение. Школа. Больница...»	81
Ирландия	
1. Белфаст	83
2. «Неподалёку от казармы...»	83
3. Баллимакода	85
«Забудь раздельный звук и призыв слитный...»	86
«Казалось, внутри поперхнётся вот-вот...»	87
«Слушай же, я обещаю и впредь...»	89
«А мы, Георгия Иванова...»	90
«В какой бы пух и прах он нынче ни рядился...»	92
<...>	
1. «Для густых бровей...»	94
2. «Не орла, не решку метнём в сердцах...»	95
3. «Был я твой студент...»	95
«Повисает рука, отмирает моя голова...»	96
Телемахида	97
Россия	98
«С полной жизнью налью стакан...»	100
Поэзия	102
«От отца мне остался приёмник – я слушал эфир...»	104
Silk Cut	106
Памяти Сергея Новикова	108
«Долетит мой ковёр-самолёт...»	110
Музыка	112
Я прошёл, как проходит...	113
Травиата	
1. «Я помню, я стоял перед окном...»	114
2. «Я вымучил естественное слово...»	115
1996	116
Караоке	117
Готика	119

Самопал (1999)

Случай.....	122
Качели	123
Игра в напёрстки	124
«Ты помнишь квартиру...»	125
Только для белок	126
«Это было только метро кольцо...»	127
<...>	
1. «Как можно глубже дым вдохни...»	129
2. «Тридцать один. Ем один. Пью один...»	129
«слышишь как птицы кричат на заре...»	130
«вспомнишь старую байку актёрскую...»	131
«счастливая с виду звезда...»	132
«я не нарушу тишины...»	133
«Пойдём дорогою короткой...»	134
Открытки в бутылке	
1. «как орлята с казённой постели...»	136
2. «Школьной грамоты, карты и глобуса...»	136
3. «Рабоче-крестьянская поза...»	136
4. «Когда моя любовь, не вяжущая лыка...»	137
5. «Отражают воды карьера драгу...»	137
6. «Коленом, бедром, заголённым плечом...»	138
<...>	
1. «Гори, зияй, забот не зная...»	139
2. «Стихотворенье мальчуковое...»	139
«Не бойся ничего, ты Господом любим...»	140
Река — облака	
1. «Ресница твоя поплывёт по реке...»	141
2. «Плывут облака, как всю жизнь напролёт...»	141
«Там, на родине певчего робина...»	143
Степь.....	144
«Будь со мной до конца...»	146
«ну при чём здесь завод винно-водочный...»	147
«Дай Бог нам долгих лет и бодрости...»	148
«Одиночества личная тема...»	149
«Допрашивал юность, кричал, топотал...»	150
«вы имеете дело с другим человеком...»	151
«До радостного утра иль утра...».....	152
«Так знай, я призрак во плоти...»	153
«Норвежки и чешки. Коньки и такие...»	154

«если прожил я в полусне...»	155
«Нескушного сада...»	156
«Это тоже пройдёт, но сначала проймёт...»	158
<...>	
1. «Где ты теперь и кто целует пальцы?..»	159
2. «Государыня, просто сударыня...»	159
«Науки школьные безбожные...»	160
Считалочка	161
«Небо и поле, поле и небо...»	162
Институтка	163
«Быть на болоте куликом...»	164
«Ну-ка взойди, пионерская зорька...»	165
Это	
1. «это не гром прогремевший...»	166
2. «это всё благородная боль...»	166
«Я б воспел укладчицы волосок...»	167
«Сила есть, а ума мне не нужно...»	168
Осень	169
«Учись естественности фразы...»	170
«медикаменты комедианты...»	171
Вечность.....	172
«а за всем за этим стоит работа...»	173
Новому веку	174
Поэту.....	175
«Чёрное небо стоит над Москвой...»	176
Евангелие	
1. «Кто рос и серебро на ус...»	178
2. «Иосиф Бродский умер...»	178
«Каждое утро Господне...»	179
Жизнь	180
«Ты тёмная личность...»	181
«Не меняется от перемены мест...»	182
«Заклинаю всё громче...»	183
«Мальчик слабохарактерный...»	184
«Всё сложнее, а эхо всё проще...»	185
23. 3. 99.....	186

Стихотворения, не вошедшие в сборники

«Дай поцелую, дай руки дотронусь...»	188
Народная драма	189

Вина	190
«На окраине на окраине...»	191
«По струнам всеми пальцами мутузя...»	192
Кувшинка	193
«Так фокусник захочет объяснить...»	194
Икона.....	195
«Включу-ка я лёгкую музыку, вот что...»	196
«На фотографиях недопроявленных...»	197
«ты только влюблённая щепка...»	198
Однокласснице	199
«Так всегда происходит на свете...»	200
«Я лягу спать, мне будет сниться...»	201
Из Бодлера.....	202
«Заставят вздрогнуть шорохи ночные...»	203
Романс	204
«За наблюдением облаков...»	205
Изыскание	206
Тайна.....	207
«То, что ворота в дерьме...»	208
Лиса и Колобок. Памятник.....	209
«Не играй ты, военный оркестр...»	210
«ещё моя молитва...»	211
«Здесь каждый с азбукою Морзе...»	212
Одной семье	213
«Когда роковая обида...»	214
«Так воин хочет отдохнуть, а ворон хочет есть...»	215
Эдем	216
«Ежедневно, почти ежечасно...»	217
Пасха.....	218
«пусть приходят кто приходит...»	219
«Поднимется безжалостная ртуть...»	220
«Любой из полевых цветов...»	221
«однообразный ход...»	222
«Начинается проза, но жизнь побеждает её...»	223
«Уходит дитя за слепцами...»	224
«Когда кричит ночная электричка...»	225
«Напрягая усталые фибры...»	226
На железной дороге	227
Ценник	228
Облегчение.....	229

Даль.....	230
<...>	
1. «бежит по стене и чуть-чуть над стеной...».....	231
2. «синдбад мореход раскуривший кальян...».....	231
«Жизнь прошла, понимаешь, Марина...».....	232
«Я только заполняю паузу...».....	234
«Кольца твои и серёжки...».....	235
«По небесам гуляли мы с тобою...».....	236
«пили кофе пили сухое вино...».....	237
«Уж истекла его гарантия...».....	238
Орошение.....	239
«не верят в кукловода куклы...».....	240
«Будет дождь идти, стекать с карнизов...».....	241
Иосиф Бродский. Частный голос из будущего.....	243

Творческое объединение «АЛКОНОСТЬ»
и издательство «Воймега»
представляют поэтическую серию «Приближение»

В серии вышли книги:

Андрей Чемоданов. «Совсем как человек»

Всеволод Константинов. «Седьмой путь»

Ольга Нечаева. «Птичье молоко»

Алексей Тиматков. «Воздушный шар»

Александр Сорока. «Тутырь»

Валерий Халяпин. «Три-Вы-Я»

Александр Максимов. «Новый год (II)»

Эти книги можно приобрести:

в Книжной лавке Литинститута (Тверской бул., 25),

книжных магазинах

«Фаланстер» (Мал. Гнезниковский пер., 12/27, стр. 2-3),

«Билингва» (Кривоколенный пер., 10, стр. 5),

«ПирОГИ на Никольской» (Никольская ул., 19/21),

«ПирОГИ на Зелёном» (Зелёный пр., 5/12)

Заказ по почте:

voymega@yandex.ru

alkonost@inbox.ru

Вышел в свет 47-й номер альманаха «АЛКОНОСТЬ»

В альманахе представлены стихи

Всеволода Константинова

Юлии Головановой

Анны Логвиновой

Сергея Казнова

Ираиды Воробьёвой

Андрея Чемоданова

Марины Мурсаловой

Маши Ореховой

Александра Переверзина

Анны Русс

Владислава Колчигина

Наты Сучковой

Сергея Королёва

Анны Орловой

Марии Гальпериной

Алексея Тиматкова

Екатерины Соболевой

Яна Шенкмана

Евгения Лесина

Альманах можно приобрести:

в Книжной лавке Литинститута (Тверской бул., 25),

книжных магазинах

«Фаланстер» (Мал. Гнезниковский пер., 12/27, стр. 2-3),

«Билингва» (Кривоколенный пер., 10, стр. 5),

«ПирОГИ на Никольской» (Никольская ул., 19/21),

«ПирОГИ на Зелёном» (Зелёный пр., 5/12)

Заказ по почте:

voymega@yandex.ru

alkonost@inbox.ru

Денис Новиков
ВИЗА

составитель: Феликс Чечик

художник: Сергей Труханов

вёрстка и корректура: Ольга Тузова

редактор: Александр Переверзин

издательство «Воймега»

e-mail: voymega@yandex.ru

директор: Александр Грачев

Формат 60x90 1/16

Тираж 500

Отпечатано в типографии «Момент»

г. Химки, ул. Нахимова, 2

